



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [А. Паевская](#)
 -
 - [Глава I. 1771-1792](#)
 - [Глава II. 1792-1814](#)
 - [Глава III. 1814-1825](#)
 - [Глава IV. 1825-1830](#)
 - [Глава V. 1830-1832](#)
-

А. Паевская

**Вальтер Скотт. Его жизнь и литературная
деятельность**

*Биографический очерк А. Паевской
С портретом Вальтера Скотта, гравированным в
Лейпциге Геданом*



Глава I. 1771-1792

Предки В. Скотта. – Семья его. – Раннее детство. – Жизнь в Санди-Ноэ. – Возвращение в родительский дом. – Школа. – Университет. – Будущий романист получает звание адвоката.

Семья Вальтера Скотта принадлежала к большому и воинственному шотландскому клану. Отец его, эдинбургский стряпчий, первый во всем своем роде поселился в городе и избрал оседлую профессию.



Вальтер Скотт, отец Скотта. Портрет, приписываемый Роберту Харви, ок. 1754.

Предки писателя, Скотты из Гардена, упоминаются в истории Шотландии с XI века. Они были в родстве с древним родом герцогов Буклью и жили в Гарденском замке на шотландском порубежье, то есть в пограничной зоне между Южной Шотландией и Северной Англией. Замок стоял в узкой и глубокой долине, орошаемой горным потоком, впадающим в Тевиот. Массивные развалины его еще существуют и возвышаются на крутом берегу, окруженные старинными вязами. Отсюда мужественные и беспокойные порубежники производили свои набеги на соседей, отбивали

у них скот и грабили их имущество. Самым знаменитым из предков романиста был Вальтер Скотт, живший в царствование Марии Стюарт и известный под именем старого Ватта из Гардена. О нем и его красавице жене сохранились многочисленные предания, из которых мы можем составить себе понятие об образе жизни порубежных воинов. Старый Ватт обыкновенно выезжал на добычу в сопровождении многочисленных слуг и товарищей. Награбленное добро прятали в глубине непроходимого ущелья по соседству со старою Гарденской башней, как назывался замок. Из ущелья скот постепенно приводили на убой в замок. Когда последняя корова была убита и съедена, жена старого Ватта подавала на стол пустое блюдо, на котором лежала только пара ярко вычищенных шпор – намек всадникам, чтобы они позаботились о будущей трапезе.

Сын старого Ватта, впоследствии сэр Вильям Скотт, осыпанный милостями шотландского короля Якова VI, был достойным имени своего отца. Во время одного из своих набегов на земли сэра Гидеона Муррея из Элибанка он был взят в плен. Предание гласит, что ему предложили на выбор: либо быть повешенным, либо жениться на «большеротой Мэг», самой безобразной из трех дочерей сэра Гидеона. Сэр Вильям был красивый молодец. Он выпросил трехдневную отсрочку для размышления и кончил тем, что предпочел жизнь, хотя бы и в обществе некрасивой жены. Мэг, оказавшаяся примерной женою, передала свой большой рот потомству, в том числе и Вальтеру Скотту.

Между предками романиста, кроме смелых удальцов-порубежников, были также ученые, например сэр Майкл Скотт, писавший в XIII веке и известный своими сочинениями по астрономии, алхимии и естественным наукам, за что прослыл между современниками колдуном. Другой предок писателя, также называвшийся Вальтером, напечатал в XVII веке в стихах «Историю знаменитого рода Скоттов». Внук старого Ватта из Гардена был дедом отца романиста; он также носил имя Вальтер и был известен в долине Тевiota под прозвищем Бородатый, потому что не стал брить бороды после изгнания Стюартов; он потерял все свое состояние, интригуя в их пользу, и сам даже брался за оружие, рискуя быть повешенным за государственную измену. От своего бородатого предка Вальтер Скотт наследовал известную слабость к Стюартам, которых, впрочем, вовсе не оправдывал.

У Бородатого было три сына; второй, Роберт, дед романиста, сначала поступил в морскую службу, но, испытав в первом же своем плавании кораблекрушение, почувствовал такое отвращение к морю, что безусловно отказался от вторичного плавания. Рассерженный отец не мог простить ему

этого и отрекся от него. Предоставленный самому себе, Роберт перешел на сторону вигов и обратился за помощью к своему родственнику и феодальному вождю, мистеру Скотту из Гардена, который дал ему в аренду ферму Санди-Ноэ; среди ее утесов возвышаются развалины Смальгольмской башни, воспетой впоследствии Вальтером Скоттом. Роберт Скотт начал свое хозяйство, наняв пастуха по имени Гагга, который из уважения к роду Скоттов доверил новому своему хозяину все свое состояние, равнявшееся тридцати фунтам стерлингов. С этой суммой господин и слуга отправились на ярмарку покупать овец. Они долго выбирали их, но когда пастух наконец нашел таких овец, каких им было нужно, то увидел, что господин его гарцует на прекрасном коне, только что купленном на весь наличный капитал. Эта спекуляция, впрочем, была удачна: через несколько дней Роберт так ловко показал достоинства своего коня на охоте у Джона Скотта из Гардена, что продал свою покупку за двойную цену. После этого он больше не занимался никакими спекуляциями, но устроил свою ферму и первым завел торговые сношения между горной Шотландией и главными английскими графствами, и при этом нажил порядочное состояние. Роберт Скотт был среднего роста, деятелен, энергичен, горяч, проникателен, строго честен и так славился повсюду своим знанием сельского хозяйства, что все соседи обращались к нему за разрешением спорных вопросов. Благородное происхождение обеспечивало ему доступ в лучшее общество графства, а искусство в охоте и рыбной ловле делало его приятным товарищем и интересным застольным собеседником. Отец Вальтера Скотта был старшим из многочисленных детей Роберта. Это был формалист, глубоко убежденный в необходимости строгого воспитания, страстно любивший порядок и аккуратность; он не ценил даже хорошей книги без хорошего переплета и более всего выходил из себя при необходимости какого-нибудь отступления от «благоустроенной гармонии домашнего обихода». Вальтер Скотт, говоря о своем отце, упоминает, что он был красив собою, причем отличался мягкостью, добротой, большою воздержностью и набожностью. Он с замечательным достоинством умел руководить всякими официальными церемониями и «безусловно любил похороны». Он даже держал у себя список многочисленных родственников, дальних и близких, для того, чтобы иметь возможность присутствовать на их похоронах, которыми его часто просили распоряжаться. «Я подозреваю, – прибавляет романист, – что ему не раз приходилось платить за них. Он при всякой возможности возил меня с собою на эти погребальные церемонии; но я, чувствуя, что не могу, подобно ему, приносить там пользу или служить украшением,

старался насколько мог избавиться от этих поездок». В политике старик Скотт был сторонником свободы, но в то же время убежденным монархистом.

Мать Вальтера Скотта, урожденная Резерфорд, была небольшого роста и не отличалась красотой. Она получила лучшее воспитание, чем большинство современных ей шотландских женщин. Для усовершенствования в науках и манерах ее поручили некоей миссис Опсильви, которая так умела муштровывать своих воспитанниц, что г-жа Скотт, будучи уже восьмидесятилетней старухой, не смела спокойно усестись в кресле и прислониться к его спинке, точно все еще находилась под наблюдением суровых очей своей воспитательницы. Г-жа Скотт была нежною и доброю матерью, отличалась веселым характером, наблюдательностью, юмором и любовью к старинным шотландским балладам, легендам и сказкам, которые прекрасно умела рассказывать.



Анна Резерфорд, мать Скотта, в старости. Портрет работы Дж. У. Гордона.

После ее смерти Вальтер Скотт писал о ней леди Луизе Стюарт:

«Ее ум отличался приобретенными сведениями и природною талантливостью; и так как она была очень стара и обладала прекрасною памятью, то умела своими рассказами очертить поразительную картину

прошлых времен. Если я достиг чего-либо в описаниях старины, то во многом обязан ей». Накануне того дня, когда ее разбил паралич, она рассказывала «с величайшею точностью настоящую историю ламермурской невесты» и указывала на то, чем эта история разнится от романа того же названия, написанного ее сыном. Она помнила имена всех действующих лиц и объясняла их родство с существующими семействами.

Вальтер был горячо привязан к своей матери и часто упоминал о ее нежности и доброте к нему. Душеприказчики, открывая рабочий стол Вальтера Скотта после его похорон, нашли там разные старомодные вещицы, украшавшие туалет его матери, когда он ребенком спал в ее уборной: пакетики с волосами ее умерших детей, табакерку ее мужа и разные вещи в том же роде.

Вот что сам Скотт пишет о своей семье:

«У моих родителей было очень много детей, я думаю – не менее двенадцати; из них некоторые были весьма способны, хотя только пятеро пережили раннее детство. Мой старший брат Роберт был моряком в королевском флоте и принимал участие в большей части битв Роднея. Он отличался смелостью и гордостью, и в его обхождении со мною проглядывало капризное самовластие. Он имел большую склонность к литературе, читал стихотворения со вкусом и толком и сам писал стихи, которые весьма ценились его товарищами. Роберт очень приятно пел (талант, которого я никогда не проявлял), имел сведения по практической механике и, будучи в хорошем расположении духа, умел отлично рассказывать о своих похождениях и о пережитых им опасностях. В дурном расположении он заставлял нас практически знакомиться с дисциплиною военного корабля и беспощадно дрался.

Джон Скотт, мой второй брат, года на три старше меня, находился на военной службе.

У меня была только одна сестра Анна, которую судьба избрала как бы мишенью для своих ударов. Детство ее отличалось тем, что она с трудом спасалась от самых необыкновенных случайностей и опасностей. Я помню, как калитка в Сен-Джорджском сквере, захлопнувшись от ветра, едва не раздавила ей руку. В другой раз она едва не утонула в пруду, или яме с водою, в том же сквере. Но самым несчастным случаем, произошедшим с нею в то время, когда ей только что минуло шесть лет и, тем не менее, бывшим впоследствии причиною ее смерти, было то, что однажды загорелся ее чепчик. Она находилась одна в комнате, и раньше, чем могла подоспеть помощь, ей сильно опалило голову. После продолжительной и опасной болезни она выздоровела, но никогда уже больше не была вполне

здорова.

В 1801 году бедная Анна умерла после скоротечной болезни. Ее нрав, как и характер братьев, отличался некоторыми особенностями; она, пожалуй, была даже страннее других – вследствие оказываемой ей снисходительности. Будучи в сущности любящей и доброй девушкой, не лишенной способностей и нежных чувств, она жила в идеальном мире, созданном ее воображением. Анна была на год моложе меня. За нею следовал брат Томас. Последний и самый несчастный из нашей семьи был мой младший брат, Даниэл. Отличаясь тем же отвращением к труду, или, лучше сказать, тою же упорною беспечностью, что и все мы, он не обладал ни быстротою ума, могущею заменить недостаток прилежания, ни гордостью, заставляющею предпочитать зависимости и пренебрежению самый ненавистный труд. Его жизнь была настолько печальна, насколько этого следовало ожидать при таком грустном сочетании условий; после нескольких попыток пристроиться он умер по возвращении из Вест-Индии в 1806 году.



Школьный проезд. На этой улице находился дом, в котором родился Вальтер Скотт. Рисунок цветным карандашом Джеймса Драммонда, 1856

Перейду теперь к моей собственной истории. Я родился, насколько знаю, 15 августа 1771 года. Я был необыкновенно здоровым ребенком, но едва не умер из-за того, что первая моя кормилица хворала чахоткою. Ее отослали и взяли другую, здоровую крестьянку, которая до сих пор жива и хвастает тем, что „ее мальчишечка“ стал „большим баринином“. Пока мне не минуло полтора года, я выказывал все признаки здоровья и силы. Однажды вечером, как мне часто впоследствии рассказывали, я ни за что не хотел даваться в руки тем, кто должен был уложить меня в постель, и все бегали по комнате; наконец меня поймали и с трудом уложили спать. Это был последний раз, когда мне удалось показать проворство. Утром заметили, что у меня лихорадка, часто сопровождающая прорезывание коренных зубов. Она продолжалась три дня. На четвертый, когда меня, по обыкновению, стали купать, то увидели, что я не владею правой ногою... Составили консилиум, в котором приняли участие мой дед, прекрасный анатом и врач, затем уважаемый покойный Александр Вуд и многие другие медики. Оказалось, что нет ни вывиха, ни какого бы то ни было повреждения; но напрасно употребляли мушки и иные наружные средства. Когда все усилия патентованных врачей безуспешно истощились, мои родители в своем беспокойстве стали хвататься за всякую надежду излечения, предлагаемую знахарями или старушками и старичками, считавшими себя вправе рекомендовать различные средства, из которых иные были довольно странного свойства. Но прежде всего последовали совету моего деда, доктора Рутерфорда, и послали меня в деревню, чтобы я окреп под влиянием чистого воздуха и свободы; и раньше чем я начал жить сознательно, я принадлежал уже к числу обитателей фермы Санди-Ноэ. Здесь следует упомянуть об одном не совсем приятном обстоятельстве. Матушка, не желая затруднять семью деда уходом за мною, послала для этого в Санди-Ноэ служанку. Но девушка, которой дали это немаловажное поручение, оставила свое сердце в Эдинбурге – по всей вероятности, ее обошел какой-нибудь молодец, наобещавший ей больше, нежели намеревался исполнить. Служанка страстно желала вернуться в город, а так как матушка взяла ее исключительно для ухода за мною на ферме, то она возненавидела меня как причину своего пребывания в деревне. Я полагаю, что у нее развилось болезненное состояние, потому что она раз созналась

старой экономке, Алисон Вильсон, что принесла меня на утесы под влиянием сильного искушения перерезать мне там горло ножницами. Алисон тотчас взяла меня к себе и позаботилась о том, чтобы служанка не подвергалась больше подобным искушениям. Ее отослали, и она впоследствии сошла с ума».

Предисловие к шестой песни поэмы «Мармион» содержит прелестную картину чувств ребенка среди обстановки фермы Санди-Ноэ и живописной местности, окружавшей развалины Смальгольмской башни:

«Это была бесплодная и дикая местность, где беспорядочно громоздились голые скалы, но местами между ними виднелась бархатная зеленая мурава, и одинокий ребенок знал, где ютятся цветы и вьется душистая жимолость вдоль трещин разрушенных стен. Я думал, что никогда солнце не освещало таких пленительных уголков. Мне казалось, что эта разрушенная башня – самое великое создание человеческого могущества... Я с изумленным восхищением внимал чудесным рассказам старого пастуха о древних вождях, которые из этой твердыни на борзых конях мчались в хищническом набеге на юг, в синеющие вдали Тевииотские горы и, возвращаясь домой, наполняли покой замка весельем и шумными пирами. Мне казалось, что под разрушенными сводами ворот все еще раздаются звуки военных труб и конский топот, а за ржавыми решетками бойниц чудились суровые лица, испещренные шрамами... И около зимнего очага я также слышал рассказы, то грустные, то веселые...» Эти рассказы восторженный мальчик переживал всем своим существом. Самые теплые строки посвящены воспоминаниям о любимом деду и его друзьях, всегда бывших снисходительными и ласковыми с шаловливым и балованным ребенком. «До настоящего времени (1836), – продолжает в своей автобиографии В. Скотт, – со мной живут в соседстве две старухи, находившиеся в услужении в Санди-Ноэ, когда был привезен туда больной двухлетний ребенок.» Одна из них, Тибби Гентер, хорошо помнит его приезд и то, что он «был милый, добронравный мальчик и любимец всех в доме». «Молодые доильщицы овец с радостью, – рассказывает она, – носили его на спине по скалам; он был очень сметлив и скоро знал каждую овцу и ягненка не хуже, чем скотницы». Но самое большое удовольствие испытывал мальчик в обществе старого пастуха, Санди Ормистона, о котором упоминается в названном выше предисловии к шестой песни поэмы «Мармион». Если ребенок встречал Санди утром, то не отставал от него, пока тот не сажал его на плечо и не уносил с собою; пастух лежа наблюдал за вверенным ему стадом, и ребенок сидел возле него.

Пастух на рожке подавал особенный сигнал служанкам, находившимся

на ферме, стоявшей у подножия холмов, когда ребенок выражал желание вернуться домой. Поэт впоследствии говорил своему другу, мистеру Скину, с которым провел летний день среди хорошо памятных ему скал, что ему доставляло наслаждение целый день валяться на траве среди стада и что «этот род товарищества, заключенного им таким образом с овцами и ягнятами, заставил его полюбить их на всю жизнь». Рассказывают, что его однажды забыли на холме, когда вдруг собралась гроза; тут только тетка вспомнила о нем и побежала его отыскивать; она нашла его лежащим на спине, он хлопал в ладоши и при каждом появлении молнии кричал: «Славно, славно!»

«Здесь, в Санди-Ноэ, – говорится далее в автобиографии, – в доме моего деда, мне пришлось испытать первые сознательные впечатления жизни – и я отчетливо помню себя в довольно причудливом виде и положении. В числе средств, к которым прибегали для излечения моей хромоты, кто-то посоветовал, чтобы всякий раз, когда заколют овцу для домашнего употребления, меня, раздетого донага, пеленали в шкуру, еще неостывшую после того, как ее сняли с животного. Хорошо помню, как я в этом татарском одеянии лежал на полу маленькой гостиницы фермы, между тем как мой дед, почтенный старик с белыми волосами, употреблял всевозможные средства, чтобы заставить меня ползать. Припоминаю также, как покойный сэръ Дж. Макдугал из Макерстоуна помогал ему в его попытках. Он, Бог его знает как, приходился нам сродни, и я до сих пор точно вижу его и его старомодный военный костюм отставного полковника: на нем была маленькая треугольная шляпа, украшенная галунами, вышитый красный жилет и светлый сюртук; седые волосы его были собраны в косу на военный лад; он стоял передо мною на коленях и волочил по ковру часы, стараясь вызвать во мне желание ползти за ними. Добродушный старый воин и ребенок, завернутый в овечью шкуру, вероятно, представляли странное зрелище для постороннего зрителя. Это происходило, по-видимому, в то время, когда мне шел третий год.

Моя бабушка несколько лет продолжала управлять фермой при помощи второго брата моего отца, мистера Томаса Скотта, жившего в Креминге в качестве управляющего этим поместьем, принадлежавшим мистеру Скотту из Данесфилда. Это было в самый разгар войны за американскую независимость, и я помню, что с нетерпением ожидал еженедельного приезда дяди (мы иначе не получали никаких новостей), чтобы услышать о поражении Вашингтона, точно я имел личную и серьезную причину питать к нему недоброжелательство; не знаю почему, но это было для меня как-то связано с горячею симпатиею к фамилии

Стюартов, возбужденною во мне первоначально песнями и рассказами якобитов. Мое политическое настроение сильно поддерживалось тем, что в моем присутствии говорили о жестокости казней в Карляйле и горной Шотландии после битвы при Куллодене. Некоторые наши дальние родственники тогда погибли, и я помню, что питал за это к герцогу Кумберландскому недетскую ненависть. Мистер Курл, фермер в Гетбюри, муж одной из моих теток, присутствовал при их казни; вероятно, от него я впервые услышал эти трагические рассказы, произведшие на меня столь сильное впечатление. Местные сведения, которые, вероятно, повлияли на образование моего будущего вкуса и на выбор занятий, я заимствовал из старых песен и рассказов, составлявших развлечение уединенно жившей в деревне семьи».

Вальтеру Скотту было около четырех лет, когда его повезли на воды в Бат, надеясь излечить хромоту. Здоровье его в общем было хорошим, жизнь в деревне сделала свое дело: он отлично бегал, несмотря на свою хромоту, лазал по горам и катался на пони, на которого садился без посторонней помощи; прибавим, что пони был не выше ньюфаундлендской собаки. По дороге в Бат заехали в Лондон, и поэт упоминает, что когда через 25 лет он снова посетил Лондонскую башню и Вестминстерское аббатство, то удивился, насколько точны были его воспоминания о них. «С тех пор я стал гораздо более доверять воспоминаниям своего детства», – прибавляет он. Бат принес мало пользы его здоровью. Здесь он выучился читать в небольшой школе под руководством одной старой дамы. Иногда ему давала уроки жившая с ним тетка. «Впоследствии, – пишет В. Скотт, – я взял несколько уроков чтения у мистера Стокера из Эдинбурга и у пастора Клива. Но я не приобрел правильного произношения и вообще остался дурным чтецом».

Одно из самых сильных впечатлений, пережитых здесь Вальтером, было первое посещение театра – давали комедию Шекспира «Как вам угодно». Он подробно описывает это в «Очерке жизни актера Кембла».

Из Бата мальчика перевезли сначала в Эдинбург, а затем снова в Санди-Ноэ. Во время пребывания в Эдинбурге шестилетнего Вальтера Скотта видела приятельница его матери, миссис Кокбурн; она описывает его как самого гениального ребенка, какого ей когда-либо приходилось видеть: «Он читал своей матери вслух стихи, когда я вошла. Я просила его продолжать – это было описание кораблекрушения. Его волнение росло вместе с грозой. „Мачта упала! – восклицал он. – Вот ее унесло водою... они все погибнут!..“ Весь взволнованный, он обращается ко мне, говоря: „Это слишком печально, я лучше прочитаю вам что-нибудь повеселее“. По

уходе дамы он сказал тетке, что миссис Кокбурн, которая о многом разговаривала с ним, ему очень понравилась, потому что она – такой же „виртуоз“, как он сам. „Милый Вальтер, – отвечала тетка, – что такое „виртуоз“?“ – „Разве вы не знаете? Это человек, который желает все знать“.»



Скотт в возрасте шести лет. Миниатюра, писанная в 1777 году.

Из Санди-Ноэ, где ребенок пробыл лето, тетка на несколько недель взяла его в Престонпанс, местечко на берегу моря. Надеялись, что морские купанья излечат его хромоту. Здесь он познакомился со старым отставным военным по имени Дальгетти, который, найдя в ребенке прилежного слушателя, без конца рассказывал ему о германских войнах. Старик и ребенок также часто говорили об американской войне и наконец почти рассорились из-за своих разногласий в политическом отношении. В Престонпансе жил также мистер Джордж Констэбль, старый друг отца Вальтера.

Джордж Констэбль первым познакомил Скотта с типами Шекспира, в частности с Фальстафом и Готспуром. «Не знаю, какого рода представления я тогда составил себе о них, – говорит Вальтер Скотт, – но, вероятно, они вызвали во мне известного рода идеи, потому что я интересовался ими. Вообще я думаю, что дети получают сильные

импульсы к умственной деятельности, слыша вещи, которые они не вполне ясно понимают, и поэтому писать, подделываясь под понятия детей, весьма ошибочно – указывайте им только путь, и пусть они сами добиваются остального». Вальтер Скотт всю жизнь помнил едко-юмористические рассказы Джорджа Констэбля о 1745 годе, но это относится уже к более позднему времени.

Переездом из Престонпанса в родительский дом закончился период раннего детства Вальтера Скотта. В его жизни вообще произошла теперь довольно тяжелая перемена. Он был ласков, послушен и необыкновенно мягок с теми, кого любил, но с ним случались и такие вещи. Однажды его родственник Рэберн свернул шею его любимому скворцу, которого ребенку удалось наполовину приручить. «Я вцепился ему в горло не хуже дикой кошки, – говорит поэт в своем дневнике через 50 лет по случаю смерти Рэберна, – так что меня насилу оторвали от него». И судя по тому, что он дальше пишет, видно, что он и в то время не вполне простил своего обидчика. С теми, кого Вальтер Скотт любил и перед кем был виноват, он поступал иначе. «Я редко, – говорит один из его учителей, мистер Митчел, – имел случай за время своего пребывания в семействе обвинить его в чем-либо, даже в пустяках, и только раз пригрозил ему строгим наказанием; но он тотчас же вскочил, бросился мне на шею и начал целовать меня». Добрый старый джентльмен прибавляет к этому рассказу следующий комментарий: «Таким великодушным и благородным поведением мое недовольство моментально было превращено в уважение и восхищение; моя душа наполнилась нежностью, и я готов был смешать мои слезы с его слезами». Не следует думать, однако, что ребенок не имел характера. Когда он перешел в семью, где было много детей и где его не баловали, как у деда, он сумел найтись в новых условиях. Но тем не менее ему жилось тяжело среди капризных и своевольных братьев, которые часто обижали его. Большой поддержкою была для него нежная любовь матери. Семья отличалась большой религиозностью, пресвитерианское воскресенье праздновали в ней с необычайной строгостью; в этот день читались только духовные книги и выслушивались длинные и сухие проповеди. Умного, живого мальчика это страшно утомляло. В течение недели время посвящалось более приятным занятиям.

Мать его, будучи образованной женщиной, любила литературу, и они вместе много читали.

В 1778 году Вальтер Скотт поступил в Эдинбургскую высшую школу. Он был не особенно хорошо подготовлен и не отличался усидчивостью. Мальчики занимали там места на скамьях сообразно своим успехам. Что

касается Вальтера Скотта, то он сам говорит о себе: «Я перелетал, как метеор, с одного конца класса на другой и приводил в негодование доброго учителя легкомыслием и небрежностью, хотя временами заслуживал его одобрение проблесками ума и таланта». Товарищи любили его – он всегда им помогал, в скучные зимние дни неутомимо рассказывал разные истории и вообще играл более важную роль вне класса, чем во время урока. Дома у Вальтера Скотта и его братьев был учитель, уже упомянутый мистер Митчел. С ним Вальтер вступал в бесконечные политические споры по поводу исторических лиц; он терпеть не мог пресвитерианцев и восхищался Монтрозом и его победоносными шотландскими горцами, а мистер Митчел уважал пресвитерианского Улисса, – мрачного и хитрого Аргайля. Вальтер тогда уже был тори и остался им на всю жизнь. Через три года по поступлении в школу мальчик перешел под руководство нового учителя – ректора мистера Адама. От этого почтенного человека он впервые научился ценить знания, между тем как до сих пор относился к приобретению их как к чему-то тяжелому и неприятному. Он два года изучал латинских авторов, был очень польщен, когда ректор одобрил его успехи, и сам начал пробовать переводить стихами Горация и Вергилия, хотя никогда впоследствии не был выдающимся латинистом. Мальчик видел, что от него ожидают всего хорошего, и считал, что должен оправдать мнение любимого и уважаемого преподавателя. По словам товарища Вальтера Скотта, Ирвинга, доктор Адам постоянно ссылался на Вальтера, когда нужно было привести какой-нибудь год или историческое событие, упоминаемое в читаемых учениками классиках, и называл его историком своего класса. Вальтер Скотт с любовью вспоминает о докторе Адаме в своей автобиографии. «Добрый старик чрезвычайно гордился успехами своих учеников в жизни и постоянно (большею частью совершенно справедливо) указывал на них как на свое создание или, по крайней мере, как на плоды своего преподавания. Он помнил судьбу каждого мальчика, бывшего в школе в течение его пятидесятилетнего управления ею, и всегда приписывал их успехи или неудачи в жизни их вниманию или небрежности к школьным занятиям. Его „шумное жилище“, которое для другого походило бы на дом умалишенных, было его гордостью; когда он утомлялся от шума и беготни, от необходимости просматривать задачи, выслушивать уроки и в то же время поддерживать известный порядок в классе, то утешался, сравнивая себя с Цезарем, который мог диктовать сразу трем секретарям...

Как жаль, что такой ученый человек, вполне приспособленный к занимаемому месту, такой полезный и простосердечный человек, умевший

довольствоваться столь малым, должен был подвергнуться тяжелым неприятностям. Но эдинбургские власти, не зная, каким сокровищем они обладают в лице доктора Адама, допустили необузданного малого, одного из младших учителей по имени Николь, нанести оскорбление почтенному ректору... Николь был хороший классик и полный юмора собутыльник (что заслужило ему дружбу Бёрнса), но в то же время – беспутный пьяница, бесчеловечно жестокий с учениками. Вражда к ректору довела его почти до убийства: он подстерег почтенного старика в темноте и избил его. Покровительство, оказанное городским советом этому недостойному сопернику, привело к дальнейшим последствиям, которые на время омрачили счастье и добрую славу бедного Адама. Когда началась французская революция, и в Англии партии стали горячо спорить за или против нее, доктор Адам неосторожно присоединился к сторонникам революции. Это было весьма естественно, так как все понятия Адама о существующих правительствах основывались на его знакомстве с деятельностью эдинбургского городского совета, а его едва ли можно было сравнивать со свободными государствами Рима и Греции, откуда Адам черпал свои взгляды относительно республик. Недостаток осторожности в разговорах по поводу современных политических событий лишил старика уважения учеников, большинство которых в своих семьях привыкли слышать совершенно другого рода мнения. Все это (происходившее уже гораздо позднее моего выхода из школы) прошло так же, как утихли и другие волнения того времени, и доктор Адам продолжал свои педагогические труды до прошлого года, когда его разбил паралич во время преподавания в классе. Он прожил еще несколько дней; в бреду перед смертью он представлял себе, что находится в классе, разговаривал с учениками и наконец сказал: „Но темнеет... мальчики могут идти!“, после чего умер».

Здоровье Вальтера Скотта опять ухудшилось, и отец позволил ему провести полгода в Кельзо у доброй его тетки мисс Джанетты Скотт. Здесь он совершенно свободно располагал своим временем, за исключением четырех часов в день, которые проводил в школе, продолжая занятия латынью с учителем мистером Ланселотом Велем. Учитель, которому надоели вокабулы и Корнелий Непот, охотно читал с Вальтером Тацита и не жалел для способного ученика ни трудов, ни времени. Что касается Вальтера, то он, со своей стороны, помогал учителю, спрашивал уроки в младших классах и на публичном экзамене произнес речь Галгака, произведшую тем большее впечатление, что мало кто из слушателей мог понять хоть слово из нее.

«Между тем, – рассказывает дальше Вальтер Скотт в своей автобиографии, – мое знакомство с английской литературой постепенно расширялось. В часы, свободные от школьных занятий, я и прежде жадно читал попадавшие мне в руки книги по истории, поэзии, путешествиям, не забывая обычную, или, лучше сказать, в десять раз большую долю сказок, восточных легенд, романов и так далее...

Это чтение было совершенно неправильное, никто в нем не руководил мною.

Мой репетитор считал почти грехом открыть какую-нибудь светскую книгу, драму или поэму, а моя мать, помимо того, что учитель мог и ее убедить в греховности подобного занятия, не имела времени слушать по-старому мое чтение вслух. Я, однако, нашел в ее уборной (где одно время спал) несколько разрозненных томов Шекспира и не могу забыть восторга, который испытывал, читая их у топящегося камина; я сидел около него полуодетый, пока снизу не раздавался шум отодвигаемых стульев, возвещавший, что встают из-за ужина и дававший мне знать, что пора ложиться в постель, в которой я должен был мирно почивать уже с 9 часов. Случай, однако, свел меня с наставником, обладавшим поэтическим чувством. Это был не кто иной, как почтенный и добрейший доктор Блаклок, хорошо известный в то время литератор. Не знаю, как я привлек его внимание и расположение нескольких молодых людей, живших у него, но случилось так, что меня часто и охотно принимали в его доме. Добрый старик разрешил мне доступ в свою библиотеку, по его совету я прочел Оссиана и Спенсера. Оба привели меня в восторг, в особенности последний. Постоянные повторения и вычурно фантастическая фразеология Оссиана надоели мне раньше, чем это можно было ожидать в моем возрасте. Но Спенсера я мог читать без конца. Я был слишком молод, чтобы вникать в аллегорический смысл его созданий; я принимал рыцарей, дам, пигмеев и великанов в их внешнем, общем смысле и бог знает как восхищался, находясь в их обществе. Я всегда обладал способностью запоминать всякие нравившиеся мне стихи и потому очень многое знал наизусть из Спенсера. Впрочем, память моя была чрезвычайно капризна в течение всей моей жизни, и я мог бы повторить слова старого Битти из Микльделя, сказанные почтенному пастору, хвалившему его способность к запоминанию. „Нет, сэр, – заметил старый порубежник, – я не могу повелевать своей памяти. В ней остается только то, что ей нравится, и, по всей вероятности, сэр, если бы вы даже два часа сряду читали мне проповеди, я был бы не в состоянии запомнить ни одного слова из них“. Моя память была точь-в-точь такого же рода: редко случалось, чтобы в ней

не сохранились любимые мною поэтические отрывки, театральные куплеты, а главное – порубежные баллады. Но исторические имена, хронология и другие технические подробности истории забывались мною самым грустным образом. Философия, история также не существовали для меня в этот период моей жизни; но постепенно в моей голове накопилось много интересных и художественных исторических фактов, так что когда в более зрелом возрасте я начал делать обобщения, то обладал значительным материалом для пояснения моих выводов. Я вышел из школы с большим запасом общих сведений, конечно, беспорядочных и собранных без всякой системы, но твердо запечатлевшихся в моем уме и приведенных в известную художественную связь памятью и живым воображением. Если моим занятиям недоставало руководства и системы в Эдинбурге, то понятно, что в деревне я был уже совершенно предоставлен только самому себе. Почтенная старинная библиотека для чтения и небольшое количество книг у некоторых частных лиц были к моим услугам, и я принялся за чтение, как слепец ищет дороги – на ощупь. Мой аппетит к книгам был велик, неразборчив и неутомим; впоследствии я слишком часто имел причины раскаиваться, что читал так много и с такой незначительной пользой. В числе ценных духовных приобретений моих в то время было знакомство с „Освобожденным Иерусалимом“ Тасса по неудовлетворительному переводу Гуля.

Но важнее всего то, что я тогда впервые познакомился с „Памятниками древней поэзии“ епископа Перси.

Так как я с детства любил подобного рода произведения и только против воли отвлекался от их изучения вследствие бедности и грубости материала, которым обладал, то можно себе представить неописуемый восторг мой, когда я увидел, что песни и баллады, подобные тем, которые забавляли меня в детстве и все еще втихомолку жили в моем воображении, почитаются предметом, достойным серьезного исследования, ученых комментариев и талантливых объяснений издателя, доказавшего, что его поэтический талант может соперничать с лучшими из произведений, сохраненных им от забвения. Я отлично помню место, где читал эти книги в первый раз. Это происходило под огромным кленом среди развалин того, что должно было быть старинной беседкой в саду, о котором я упоминал. Летний день прошел так скоро, что, несмотря на мой здоровый аппетит тринадцатилетнего мальчика, я забыл обеденный час; меня искали с беспокойством и нашли погруженным в духовную трапезу.

Читать и запоминать было в этом случае для меня одно и то же – поэтому я поражал моих школьных товарищей и всех, кто хотел меня

слушать, трагическими отрывками из баллад епископа Перси. Кроме того, как только я был в состоянии скопить несколько шиллингов, что со мною нечасто случалось, я купил себе экземпляр этой любимой мною книги; не помню, чтобы я вообще какую бы то ни было книгу читал так часто и с таким восторгом. Около этого же времени мне пришлось познакомиться с сочинениями Ричардсона, Мэкензи (с которым впоследствии у меня установились дружеские отношения), Филдинга, Смоллета и некоторых других лучших наших романистов.

В этот же период моей жизни пробудилась во мне способность наслаждаться красотами природы, никогда впоследствии не покидавшая меня...

Романтические чувства, господствовавшие в моей душе, вызывались и поддерживались величественными чертами окружающей меня природы; а исторические происшествия, или предания и легенды, связанные с ними, придавали моему восхищению оттенок уважения, заставлявший мое сердце горячее биться. С этого времени любовь к красотам природы, особенно в связи с древними развалинами и памятниками набожности или роскоши наших предков, сделалась у меня ненасытной страстью – и, если бы обстоятельства позволили, я охотно изъездил бы полвселенной для ее удовлетворения.

Я должен был вернуться в Эдинбург к открытию курса в коллегии и прямо поступил в класс словесности мистера Гилля и греческий класс мистера Дальзеля. У первого классная дисциплина была весьма слаба; студенты очень любили его, так как он был очень добродушный человек и серьезный ученый; но он не обладал способностью возбуждать нашу любознательность. Было опасно поручать такому человеку юношу, столь мало расположенного к труду, как я; среди беспорядков его класса я скоро позабыл многое из того, чему научился у Адама и Веля. Дело могло бы идти лучше в греческом классе, так как профессор Дальзель умел поддерживать свой авторитет, сам был замечательный ученый и глубоко интересовался успехами своих учеников.

Но вот в чем была беда: почти все мои товарищи, кончившие курс высшей школы вместе со мною, подучились немного по-гречески до поступления в университет, а я, увы, ничего не знал; видя, что мои лингвистические сведения ниже познания товарищей, я вздумал завоевать себе равенство с ними, выражая полное презрение к греческому языку и высказывая твердое намерение не изучать его. Один юноша, сам отлично учившийся по-гречески, отнесся не с пренебрежением, а с сожалением к моей глупости. Он пришел ко мне на дом и серьезно указывал на

вздорность моего поведения; при этом он сказал, что товарищи дали мне прозвище „греческий олух“, и убеждал меня поправить дело, пока еще не поздно. Упрямая гордость заставила меня принять его совет с напускной вежливостью; в своей ограниченности я считал, что происхождение моего ментора (его звали Арчибальдом, и он был сын трактирщика) не дает ему права навязывать мне свои советы. Арчибальд был не особенно проникновенен, или же добрые намерения заставили его сознательно превозмочь неудовольствие, которое мой прием необходимо должен был в нем вызвать, но он предложил заниматься со мною днем и ночью и ручался за то, что при его помощи я сравняюсь с лучшими студентами. Я на минуту почувствовал как бы угрызения совести, но они не были в состоянии преодолеть мою гордость и самомнение. Бедный юноша ушел от меня скорее опечаленный, чем рассерженный, и мы никогда более не вступали ни в какие сношения друг с другом.

Всякая надежда на успехи в греческом языке теперь исчезла для меня; когда нас заставили писать сочинения об изучаемых нами авторах, я имел смелость представить работу, где сравнил Гомера с Ариостом, которому и отдал предпочтение. Я пытался доказать эту ересь при помощи легкомысленных аргументов и ссылок на множество без толку прочитанных книг. Этим я возбудил величайший гнев профессора, который в то же время не мог скрыть своего удивления по поводу моих значительных, хотя и беспорядочных сведений. Он произнес мне строгий приговор: олухом я был и олухом останусь.

Впрочем, мой добрейший и ученый друг впоследствии отказался от этого мнения за бутылкой бургундского в нашем литературном клубе, одним из наиболее уважаемых членов которого он был. Как бы для того, чтобы уничтожить последние познания мои в греческом языке, я заболел посреди полугодия и снова перебрался в Кельзо, где опять долгое время читал как и что хотел – а не читал я, конечно, ничего, кроме того, что мне непосредственно доставляло удовольствие. Единственной вещью, спасшей мою голову от полного запустения, была любовь к историческим исследованиям, никогда не покидавшая меня даже в этот период умственной лени.

Я забросил также латинских классиков – не знаю, собственно, по какой причине, может быть, потому, что они были сродни греческим; случайно прочитанные истории Бьюканана, Матвея Парижского и другие монашеские летописи поддержали мое знакомство с латинским языком в грубейшей его форме. Но я забыл даже греческую азбуку, – невознаграждаемая потеря ввиду того, что представляет из себя этот язык и

чем были авторы, писавшие на нем».

Около этого времени отец Вальтера Скотта позаботился о том, чтобы он начал изучать математику; молодой Вальтер охотно взялся за нее, но обстоятельства сложились так, что и здесь он приобрел только поверхностные сведения. В других науках дело шло лучше. Он с успехом изучал этику, нравственную философию, историю, а также гражданское право и муниципальные законы. Вспоминая в своей автобиографии о своих пробелах в научном отношении, Вальтер Скотт говорит среди прочего следующее: «Если мои знания впоследствии оказались незначительными и неосновательными, то читатель должен извинить ленивого работника, который должен был строить на таком шатком фундаменте. Если же эти строки когда-либо попадутся на глаза юношеству, то пусть такие читатели запомнят, что я с величайшим сожалением в зрелые годы вспоминаю о том, что в юности пренебрег возможностью приобрести знание; что в течение всей моей литературной карьеры я был стеснен собственным невежеством и что в настоящую минуту я отдал бы половину доставшейся на мою долю известности за возможность основать вторую половину на твердом фундаменте научного знания».

В 1785—1786 годах отец В. Скотта взял его в свою контору для того, чтобы он в установленном порядке мог изучить обязанности стряпчего. В то время, однако, мистер Скотт еще не решил, кем будет его сын — стряпчим или адвокатом. Молодой Вальтер не особенно ленился, а порою работал даже с необычайной энергией. Читал он очень много и по-прежнему питал пристрастие к тому, что отличалось романтическим характером. Если повесть относилась к современному быту, то, благодаря уже достаточно развитому вкусу, Вальтер интересовался только произведениями лучших авторов; но если сюжет касался рыцарства, то юноша поглощал все, без особенного разбора, и вскоре начал сам подражать подобным сочинениям. У него был в это время приятель, Дж. Ирвинг, с которым он часто гулял; во время этих прогулок они рассказывали друг другу собственные романтические измышления, где преобладало воинственное и чудесное. Нужно прибавить, что В. Скотт уже до 10-летнего возраста собрал столько старинных рассказов и песен, что из них составилось несколько тетрадей; они до настоящего времени сохраняются в Абботсфорде и все писаны детским почерком. Прочитав перевод Тасса и Ариоста, сделанный Гулем, и узнав, что на итальянском языке существует богатое собрание романтических произведений, Вальтер изучил итальянский язык, как перед этим с тою же целью освежил свои познания во французском. Позднее он изучил также испанский и немецкий

языки, хотя не мог свободно говорить ни на одном из них. В то же время он не переставал расширять свои сведения по древней отечественной истории.

К этому периоду его жизни относится встреча Вальтера Скотта с поэтом Бёрнсом. Ему было всего 15 лет, но он уже понимал поэтическую ценность таланта Бёрнса, который лично также произвел на него сильное впечатление своею скромностью и в то же время определенностью взглядов, выраженных без всякой рисовки или самонадеянности. В течение второго года пребывания Вальтера Скотта в отцовской конторе он заболел кровотечением из легких. Его уложили в постель и запретили двигаться и говорить. Он проводил все время за игрою в шахматы, чтением своих любимых авторов и изучением истории, преимущественно ее военных событий. Когда ему хотелось представить себе наглядно встречу двух армий, он расставлял раковинки, семена растений и камешки. Приятель-столяр устроил ему модель крепости. С такими приспособлениями он прочел историю мальтийских рыцарей и историю Индостана, снабженную прекрасными планами. В другое время он при помощи искусно расположенных зеркал следил за тем, что делалось на улице, как солдаты шли на ученье и тому подобное.

Здоровье его после одного или двух кровотечений стало поправляться, но в юноше развились нерешительность и нервность, чего прежде не было, а также обидчивость и меланхолическое настроение. Все это он сам приписывал частым кровопусканиям и растительной диете, которыми его старались излечить от болезни. Со временем, однако, это состояние прошло, и Вальтер Скотт всю жизнь пользовался завидным здоровьем.

Как только юноша вполне оправился от своей болезни, он принялся много гулять и ездить верхом. Он также иногда отправлялся с товарищами в горную Шотландию и посещал там клиентов своего отца. Между ними был старик Александр Стюарт из Инвернгайля, который много рассказывал будущему романисту о том, что происходило во время восстания 1715—1745 годов. Большим горем для В. Скотта было неумение рисовать – ему хотелось бы во время своих экскурсий делать эскизы местностей, но рисование ему не давалось, и он заменял недостающие ему эскизы тем, что брал на память ветки деревьев из осматриваемых живописных уголков... С музыкой дело шло у него еще хуже, чем с рисованием... В других областях он, однако, начал восполнять пробелы своего хаотичного воспитания. Эдинбургские студенты составляли так называемые «литературные общества», где занимались рассмотрением литературных, философских и научных вопросов. Вальтер Скотт говорит, что играл в них далеко не блестящую роль, так как хорошим оратором не был и не привык

«сочинять» и обобщать своих мыслей о каком бы то ни было предмете; единственное, что помогало ему, – это исторические сведения, приобретенные им благодаря неутомимому и разнообразному чтению. В это время он сблизился со многими товарищами, оставшимися его друзьями на всю жизнь. Он не вполне одобрял времяпрепровождения тогдашних студентов. Много, говорит он, было лени, а иногда слишком много кутежей, но, в общем, это была хорошая молодежь с горячим сердцем и искренним желанием приобрести знание. Заметив, что он отстал от товарищей по метафизической философии и другим отраслям науки, Вальтер старался чтением пополнить то, чего ему недоставало. В январе 1791 года его приняли членом в самое известное Эдинбургское литературное общество (The Speculative) и выбрали библиотекарем, а затем секретарем и кассиром его. Существуют различные записи, сделанные его рукой и касающиеся дел общества, где видно, что он с большим вниманием занимался ими; но эти записи, так же, как и письма, написанные им в первой молодости, отличаются странно-небрежным правописанием. В этом обществе, или клубе, читались среди прочего различные статьи, написанные членами, и мистер Фрэнсис Джеффри упоминает, что Вальтер Скотт не отставал от других. Он также собирал различные старинные вещи и книги. Примерно в это же время отец Вальтера предложил сыну сделаться его компаньоном, но высказал, что предпочел бы видеть его адвокатом. Вальтер Скотт и сам желал этого, так как положение стряпчего казалось ему более зависимым, а он жаждал свободы. Он начал специально изучать законы и трудился над этим с 1789-го по 1792 год, занимаясь римским гражданским правом и муниципальными законами Шотландии вместе со своим приятелем Вильямом Клерком, а также слушая лекции по этим предметам в Эдинбургском университете. Шотландские законы читал тогда известный Дэвид Юм, о котором Вальтер Скотт постоянно впоследствии вспоминал с благодарностью и восхищением. Занятия молодых людей увенчались полным успехом, и в 1792 году будущий романист получил звание адвоката.

Глава II. 1792-1814

Первая любовь Вальтера Скотта. – Поездки в горную Шотландию. – Стихотворные опыты. – Женитьба. – Первые контакты с Балантайном. – Друзья и помощники Вальтера Скотта. – Дальнейшие литературные труды. – Семейная жизнь поэта.

Вальтеру Скотту минул 21 год, когда он получил звание адвоката. В это время он был застенчив, небрежен в одежде и дичился в обществе. Вдруг с ним произошла перемена; он стал хорошо одеваться и сделался, по шутливому выражению товарищей, «дамским кавалером» – и все это произошло оттого, что он влюбился в молодую девушку, которую однажды, по случаю дождя, проводил до ее дома под своим зонтиком. Это была Маргарита, дочь сэра Джона Стюарта Гельчеса, стоявшего на более высокой общественной ступени, чем будущий романист. Строго честный отец Вальтера, узнав о любви сына, счел долгом предупредить родителей Маргариты. Но сэр Джон не обратил на это внимания и не запретил своей дочери встречаться с Вальтером Скоттом. В то время он, по словам герцогини Судерланд, был красивый юноша: высокий, сильный – настоящий Геркулес; его портила только хромая нога. У него были большие блестящие глаза с открытым взором, приятная улыбка, прекрасные зубы, благородный высокий лоб и полусерьезное-полувеселое выражение лица. Несмотря на скромность и застенчивость, речь его отличалась блеском и умом. Вальтер Скотт мечтал, что Маргарита также любит его, но не смел высказывать ей своих чувств. Так продолжалось лет пять-шесть; но когда, наконец, он объяснился с нею, то уже было поздно: молодая девушка считалась невестой другого – приятеля Вальтера Скотта, сэра Вильяма Форбеса, за которого вскоре и вышла. Это знакомство и любовь сильно повлияли на Скотта в том смысле, что удержали его от многих соблазнов молодости и развили поэтический элемент в его характере.

Что касается адвокатской деятельности, которою Вальтер Скотт занимался около десяти лет, то она оказалась неудачной, так как ему приходилось вести все незначительные дела, несмотря на то, что он, по свидетельству товарищей, отличался основательным знанием законов, трудолюбием, находчивостью, здравым смыслом и к тому же был замечательным диалектиком. За все эти качества он пользовался уважением товарищей и был несколько раз избираем в библиотекари корпорации юристов наравне с лицами столь известными, как Дэвид Юм, профессор

шотландского права, и историк Малькольм Ленг.

Занятия в библиотеке соответствовали склонностям Вальтера: имея под руками богатый материал, он горячо и неутомимо изучал легенды и местные исторические памятники. В этом же направлении он работал во время своих поездок по делам и экскурсий по шотландскому порубежью в каникулярное время. Так, в течение семи лет Вальтер Скотт ежегодно делал набег на отдельный горный Лидесдэль вместе со своим товарищем Шортридом и собирал там песни и легенды, из которых составил впоследствии «Сборник поэзии шотландского порубежья» («Песни шотландской границы». – *Ред.*). Здесь же он знакомился с народным бытом, так прекрасно изображенным в его романах. По мнению Шортрида, в то время Вальтер Скотт еще вовсе не отдавал себе отчет, какие плоды принесут его странствия, а просто думал о приятном и веселом препровождении времени. Шортрид рассказывает о некоторых из этих прогулок. Лидесдэль был в то время таким уединенным уголком света, что кабриолет Скотта оказался первым когда-либо появившимся там экипажем. Во всей долине не было ни одной гостиницы или даже постоялого двора; приходилось пользоваться гостеприимством то в хижине пастуха, то на ферме, то в пасторском доме. В эти дни, говорит Шортрид, описывая одну из названных прогулок, адвокатов еще было мало, по крайней мере, – в Лидесдэле; поэтому проезд такого высокопоставленного гостя произвел сильный переполох на первой ферме, которую они посетили. Она принадлежала некоему Вилли Эллиоту. Он принял их с величайшими церемониями и настоял на том, что сам сведет лошадь Вальтера Скотта в конюшню. Шортрид сопровождал Вилли, который, взглянув в щелку двери и увидев, как любезно Вальтер Скотт отвечает на приветствия полудюжины окружавших его собак, прошептал: «Ну, черт меня возьми, если я его теперь хоть крошечку боюсь, – мне кажется, что он точь-в-точь такой же человек, как и мы». Он на славу потчевал своих гостей, после чего они отправились ночевать к доктору Эллиоту, соседскому пастору, у которого был целый сборник древних баллад и легенд; здесь также не обошлось без угощения, и пунш играл в нем немаловажную роль. На следующее утро они предприняли новую и довольно далекую поездку с намерением посетить старого Томаса в Твизльгопе, также принадлежавшего к клану Эллиотов и славившегося игрою на шотландской волынке и знанием редких старинных песен. Угостив их музыкою, старый Томас преподнес им, по горному обычаю, пунш в особенном маленьком деревянном сосуде, похожем формою на подойник и носившем имя «Мудрость» за то, что в нем могло поместиться всего несколько ложек напитка. И тем не менее

сосуд этот во всем приходе лет 50 уже славился как самый лютей враг трезвости и мудрости, ибо хозяин так ловко умел снова наполнять его, что он никогда не бывал пустым. Оказав должную честь «Мудрости», друзья продолжали свое веселое путешествие. Хотя пить приходилось часто, но ни молодой Вальтер, ни его друг не злоупотребляли спиртными напитками и, даже выпив лишнюю рюмку, всегда оставались «джентльменами». Однажды молодые люди, остановившись в одной хижине, очень удивились, что, несмотря на радушный прием, хозяйка подала им только одну бутылку наливки. После ужина молодой пастор, также находившийся в доме, по приглашению хозяина стал читать Библию. Фермер, задремавший во время чтения, вдруг вскочил и сильно удивил гостей возгласом: «Ей-богу, вот, наконец, и бочонок!» – и в ту же минуту в комнату ввалились с бочонком в руках два здоровых работника, которых фермер в ожидании визита адвоката послал два дня тому назад к известному контрабандисту за водкой. Душеспасительное занятие было прервано, и устроилась попойка, длившаяся до солнечного восхода.

Вальтер Скотт собирал также всякие древности. Среди прочего доктор Эллиот подарил ему старинный боевой рог, в котором до того времени один из слуг его держал жир для смазки железных садовых инструментов. Его вычистили, он оказался вполне целым и невредимым и до настоящего времени сохраняется в Абботсфорде. Скотт сам вез его домой, не выпуская из рук, Шортриду же поручил какие-то старинные удила. «И весь этот вздор никогда нам ничего не стоил, – замечает практический друг романиста, – нам с начала недели и до конца не приходилось братья за кошелек».

В одно из следующих своих путешествий Вальтер Скотт посетил Стирлингшир и Пертшир и между прочим был в Тюлибоди, имении дяди его друга Джорджа Аберкромби. Старик рассказал ему о том, как он посетил разбойника Роб Роя в его пещере, был принят им весьма любезно, ел у него жареное мясо украденных из Тюлибоди коров и заключил с ним условие о плате ему «черной дани», что должно было гарантировать его владения не только от Роб Роя, но и от всех соседних и дальних разбойников.

В промежутках между своими странствованиями Вальтер Скотт посещал родных и знакомых в окрестностях Эдинбурга и тут продолжал свои антикварские занятия вместе с изучением местности. В то время, то есть между 1792-м и 1796 годом, в Шотландии происходило довольно значительное умственное брожение. Общество под влиянием известий о Великой французской революции разделилось на консерваторов и

сторонников революции. Вальтер Скотт примкнул к первой партии и играл видную роль в столкновениях ее с демократическими ирландскими студентами-медиками. Примерно в это же время в Англии и Шотландии распространился страх перед французским вторжением и начали формироваться полки волонтеров. В Эдинбурге сформировался полк, где адвокаты были рядовыми, а судьи – офицерами, но Вальтер Скотт был этим недоволен и несколько позднее с некоторыми друзьями выхлопотал позволение устроить кавалерийский отряд, в котором был назначен квартирмейстром и казначеем. Несмотря на свой физический недостаток – хромоту, – он отлично ездил верхом, не знал усталости, а энергия и веселость его одушевляли всех. Он, однако, не бросал и своих литературных занятий. В течение зимы 1795 года ему пришлось прочесть балладу Бюргера «Ленора», которая привела его в такой восторг, что он в тот же вечер принялся переводить ее, не спал всю ночь и на следующее утро представил перевод своим друзьям, которые вполне одобрили его. Под влиянием мрачных картин бюргеровской поэзии молодой поэт отправился со своим приятелем Александром Вудом к знаменитому хирургу Джону Беллю и выпросил у него череп и две бедренные кости, которые впоследствии всегда занимали почетное место на верхушке его книжного шкафа. После этого он с жаром принялся изучать немецкий язык, а свой перевод «Леноры» вместе с переводом другой поэмы Бюргера, «Дикий охотник», напечатал без подписи в 1796 году. Эти первые литературные попытки В. Скотта произвели мало впечатления на читающую публику, хотя английские критики высоко ценят их.

Вальтер Скотт не особенно долго оплакивал свою первую любовь. Через год после замужества Маргариты он с братом Джоном и приятелем Фергюсоном отправился в экскурсию на английские озера и временно поселился в уединенной деревне Кумберланда, Гольсланде, имевшей минеральные воды. В окрестностях ее он встретил молодую девушку, которая поразила его своею прелестью. В тот же вечер на балу в Гольсланде он был представлен ей – это была мисс Шарлотта Карпентер, дочь француза Жана Шарпантье из Лиона, преданного роялиста, умершего в начале революции.



**Скотт в форме Эдинбургского королевского полка легких гусар.
Эту миниатюру он подарил Шарлотте Карпентер в 1797 году.**



**Миниатюрный портрет Шарлотты Карпентер (ок. 1797),
подаренный Скотту на помовку.**

Мать ее с двумя детьми переселилась в Англию, где также вскоре умерла, оставив сирот на попечение друга их семьи, маркиза Дауншира. Брат Шарлотты служил в Ост-Индской компании, а она сама жила у старой

приятельницы своей матери, мисс Никольсон, с которой и приехала на воды. Хотя черты лица Шарлотты не были правильными, но она имела большие черные глаза, темные роскошные волосы, грациозную фигуру и прелестные манеры. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга, и через месяц Вальтер уже был женихом Шарлотты. Маркиз Дауншир без затруднения дал свое согласие, но старый эдинбургский стряпчий некоторое время противился поспешному, по его мнению, браку сына. Строгий пресвитерианец не любил Франции, и, хотя мисс Карпентер была протестантка, он, тем не менее, ожидал мало хорошего от француженки. Кроме того, ему не нравилась эта женитьба, и, с другой стороны, сын его не был обеспечен, и, хотя мисс Карпентер получала 500 фунтов стерлингов в год от брата, этот доход нельзя было назвать вполне верным. Вальтеру Скотту стоило большого труда уговорить отца, это ему удалось, и 24 декабря того же года он обвенчался с Шарлоттой.

Брачную жизнь Вальтера Скотта можно назвать вполне счастливою, хотя впоследствии оказалось, что во вкусах супругов было мало общего. Леди Скотт была вполне преданная жена и добрая мать. Если она и не отличалась особенными талантами, зато была гостеприимною хозяйкою, и зимой в доме Вальтера Скотта в Эдинбурге собирались по вечерам друзья и товарищи, между которыми встречалось немало талантливых людей. Молодая чета не давала званых обедов и балов, но часто посещала театр. Лето супруги проводили на небольшой дачке, в деревенском домике или коттедже, нанятом ими в шести милях от Эдинбурга. Здесь Вальтер Скотт занимался цветоводством. Коттедж этот, называвшийся Ласвэд, стоял в очень живописной местности, неподалеку располагались замки герцога Буклюю, лорда Мелвилла, лорда Вудгузли и мистера Мэкензи, которые все радушно приняли молодых супругов в свое общество. Друзья из Эдинбурга также приезжали в Ласвэд. Локгард рассказывает, что много лет спустя, когда Вальтер Скотт достиг славы и богатства, он повез однажды в Ласвэд своих друзей, мистера Маррита и его жену, и, показывая им коттедж, сказал: «Хотя нечего тут и смотреть, но я все-таки желал убедиться, существует ли по-прежнему этот маленький домик. Это была первая наша дача после свадьбы, и мы много хлопотали, чтобы придать ей уютный вид; я даже собственноручно сделал большой обеденный стол. Посмотрите на эти две несчастные ивы у ворот: они связаны верхушками в виде арки. Конечно, они представляют теперь неважное зрелище, но я хотел снова на них взглянуть; уверяю вас, эта зеленая арка так нравилась мне и маме (так обыкновенно В. Скотт называл жену, когда у них пошли дети), что в день ее устройства мы долго ходили ночью, при лунном свете, любуясь ее

живописным видом и великолепием нашего жилища».

Счастливая семейная жизнь сильно поощряла Вальтера Скотта в его литературных занятиях. Он познакомился со знаменитым в то время литератором Льюисом, автором полного сверхъестественных ужасов романа «Монах». Льюис составлял сборник, вышедший затем в 1801 году под названием «Чудесные рассказы»; он обратился к Вальтеру Скотту с просьбой дать ему какой-нибудь «немецкой чертовщины» вроде его перевода «Леноры» Бюргера. Вальтер Скотт тотчас послал ему несколько баллад. Льюис же побудил его предпринять перевод драмы Гёте «Гёц фон Берлихинген», который стараниями Льюиса вышел из печати в 1799 году, но особенного впечатления не произвел. В это время В. Скотт начал писать оригинальные стихотворения для сборника Льюиса; таковы его баллады «Гленфилас», «Серый брат», «Канун Иванова дня» и другие. Все они основаны на преданиях, воспеваемых в народных шотландских балладах. Льюис мешкал с изданием сборника, и В. Скотт случайно нашел другой способ напечатать свои стихотворения; именно Джеймс Балантайн, товарищ его по школе и содержатель типографии в городке Кельзо, предложил ему помещать юридические статьи в его газете «Вестник Кельзо». В. Скотт согласился и затем, со своей стороны, предложил Балантайну напечатать сборник его баллад в 12 экземплярах, чтобы показать этот образчик типографского искусства в Эдинбурге и доставить Балантайну заказы от эдинбургских книгопродавцев. Уехав в Эдинбург, В. Скотт вскоре написал своему приятелю письмо, где предлагал ему издавать, во-первых, еженедельную газету, во-вторых, ежемесячный журнал и, в-третьих, «Каледонский ежегодник», для которого находил нетрудным подобрать хорошие статьи. Кроме того, он советовал ему взять на себя издание судебных и административных документов, а также старинных и новых книг. Для всего этого он зазывал Балантайна в Эдинбург и советовал ему составить товарищество. Это и было началом издательских предприятий В. Скотта, имевших для него такие печальные результаты. Но в то время планы эти казались ему весьма блестящими, тем более что собственное положение его было уже обеспечено, и он считал, что спокойно сможет предаться литературной деятельности. Дело в том, что умер приятель В. Скотта мистер Плуммер, пламенный антикварий и шериф (судья) в Селькирке. Наместник графства, лорд Буклью, как вождь клана Скоттов, постарался оказать покровительство поэту, литературным занятиям и политическим убеждениям которого сочувствовал. Он ходатайствовал за него у тогдашнего министра, лорда Мелвилла, тоже ценившего В. Скотта, и 16 декабря 1799 года будущий романист был

назначен шерифом с содержанием в 300 фунтов в год, что с доходом от адвокатских дел и с тем, что получала г-жа Скотт, составляло достаточные средства для вполне обеспеченного образа жизни. Служба Вальтера Скотта как шерифа в мирной пастушеской местности, лежавшей главным образом во владениях герцога Буклю, была нетрудной; поэтому он с жаром принялся за соби́рание и издание баллад и, по счастливому стечению обстоятельств, нашел трех прекрасных помощников для этого дела. Первым из них был Джон Лейден, сын пастуха, почти самостоятельно выучившийся новым и древним языкам, математике и естественным наукам. Случайное знакомство его с В. Скоттом вскоре превратилось в тесную дружбу. В. Скотт предложил ему сотрудничество в сборнике Льюиса, а также в своем собственном, и Лейден доставил несколько прекрасных стихотворений в оба, но его услуги были всего драгоценнее по отношению к разысканию местных шотландских легенд и песен. Другим помощником и другом В. Скотта был Джеймс Гогг, «этрикский пастух», скрывавший под грубой оболочкою простого мужика глубокий поэтический талант. Он уверял, что знает все баллады, легенды и песни пограничной Шотландии, и действительно доставил поэту значительное число их. Со своей стороны, В. Скотт постоянно заботился о нем и старался устроить его судьбу, что было нелегко, так как Гогг отличался капризным и неуживчивым характером. Он то преклонялся перед В. Скоттом, то писал ему письма, начинавшиеся словами «Проклятый сэ́р» и подписанные «Презирающий Вас».

Он впервые явился обедать к В. Скотту в пастушеской одежде, с руками, не вымытыми после стрижки овец, и, увидев, что г-жа Скотт, в то время хворавшая, прилегла на диван, тотчас сам во весь рост вытянулся на другом, так как, по его позднему объяснению, он «думал, что не может сделать ничего лучшего, как последовать примеру хозяйки дома». За обедом чем он более пил, тем становился фамильярнее, стал звать В. Скотта сначала Вальтером, а потом Ватти и за ужином уморил всех со смеху, назвав г-жу Скотт Шарлоттою. Грамоте Гогг выучился сам, сторожа своих овец на пастбище, и, тем не менее, написал несколько коротеньких поэм так прекрасно, как не удалось бы сделать и самому В. Скотту. Совсем в другом роде был друг Гогга и третий помощник В. Скотта, Вильям Лэдлау, сын фермера, у которого в течение десяти лет находился в услужении Гогг. Он с самого детства собирал легенды и песни и передавал их В. Скотту. Впоследствии он был его управляющим и секретарем в Абботсфорде и окружал своего друга попечениями в последний, печальный период его жизни. Первые два тома «Песен шотландской границы»

появились в 1802 году. Они были напечатаны в типографии Джэмса Балантайна в Кельзо; уже в 1803 году вышло второе издание с прибавлением третьего тома. Введение и примечания к ним представляют интересный труд по бытовой истории Шотландии, имеющий самостоятельную ценность. Знатоки древней литературы обратили большое внимание на «Песни шотландской границы»; этим изданием В. Скотт сразу занял видное место в литературе и был с распростертыми объятиями принят лондонскими литераторами. Он тотчас принялся за первую свою самостоятельную поэму «Песнь последнего менестреля». В то же время его пригласили в сотрудники только что основанного «Эдинбургского обозрения», редактором которого был друг и товарищ В. Скотта по адвокатской деятельности, Джеффри. Первые статьи В. Скотта были критические. В январе 1805 года появилась «Песнь последнего менестреля»; о ней сам В. Скотт в предисловии говорит, что эта попытка возвратиться к более естественной поэзии должна быть встречена сочувственно публикой, которой надоели героические, напыщенные гекзаметры. Успех превзошел ожидания автора, и в числе лиц, одоббивших В. Скотта, были Чарлз Фокс и Вильям Питт. Последний говорит, что «подобные картины могут быть изображены только живописью, а не поэзией». «Песнь последнего менестреля» яркими красками рисовала дикую жизнь порубежья. В. Скотту было тогда 34 года... Неимоверный успех его поэмы имел решающее значение в его жизни; с этого времени он вполне отдался литературе. Несколько раньше, в 1804 году, В. Скотт покинул Ласвэд, взял в аренду у своего двоюродного брата поместье Ашестьель на берегу реки Твид и переселился туда. Это случилось вследствие жалобы лорда-наместника, что В. Скотт не живет в своем округе и слишком много времени тратит на свои занятия как волонтер ополчения. Поэт согласился переменить место жительства, но волонтером, тем не менее, остался. Относительно жизни В. Скотта в Ашестьеле можно сказать, что она вполне соответствовала его вкусам и наклонностям. Гористая, живописная местность, находящаяся вблизи города Селькирка, вся принадлежала герцогу Буклюю. Здесь В. Скотт мог охотиться, ловить рыбу и вообще предаваться, сколько ему было угодно, сельским удовольствиям в промежутках между служебной деятельностью и литературными занятиями. Он в то же время заботился о собственной ферме и о лесах, принадлежавших Ашестьелю. При переезде он думал поручить ведение фермы и присмотр за домом в зимнее время своему приятелю, пастуху-поэту Джеймсу Гоггу; но это не устроилось, и на его место был взят Томас Пурди, ставший до конца жизни В. Скотта его

преданным другом и слугою. С Пурди В. Скотт сначала познакомился в качестве судьи. Бедняк обвинялся в браконьерстве, то есть незаконной охоте. Он так трогательно защищался и говорил о своем с женою и детьми тяжелом положении, «когда работы было мало, а тетеревов много», что сердце поэта смягчилось. Том избежал законной кары, был взят в пастухи и выказал такую способность и охоту к работе, что В. Скотт дал ему место, предназначавшееся Гоггу, и никогда впоследствии не раскаивался в этом. Вскоре после переселения В. Скотта в Ашестель умер его дядя Роберт и оставил ему в наследство имение Розбанк, которое будущий романист продал за 5000 фунтов стерлингов. Сначала эти деньги предназначались на покупку поместья, но в это время Балантайн, переселившийся в Эдинбург и печатавший «Песнь последнего менестреля», заявил В. Скотту, что его предприятие за недостатком средств должно погибнуть. В. Скотт отдал ему свои пять тысяч и сделался негласным компаньоном фирмы при условии, что треть принадлежит ему. Хотя это участие в коммерческом деле имело для поэта весьма печальные последствия, но нельзя сказать, чтобы он поступал здесь необдуманно. Он вообще был практический и деловой человек, хорошо понимавший, что ему необходима материальная поддержка, помимо литературной и издательской деятельности. Поэтому он начал искать казенного места, которое лучше обеспечивало бы его семью, чем профессия адвоката и шерифа. В Верховном Эдинбургском суде существовала тогда должность секретаря с 1300 фунтами стерлингов жалованья; она как нельзя лучше соответствовала желаниям и способностям В. Скотта. Ее занимал один из приятелей романиста, старый и больной человек. Благодаря могущественным покровителям, В. Скотт получил это место с условием уступать жалованье своему предшественнику до его смерти. Таким образом, ему некоторое время пришлось работать даром, но он не тяготился этим, предполагая получать в будущем значительный и определенный доход. Должность эта оставалась за ним в течение 25 лет. Во время сессии, продолжавшейся около шести месяцев, он был ежедневно занят в суде от четырех до шести часов, так что на литературную работу у него оставались только утро и вечер. Получив должность секретаря, В. Скотт бросил адвокатуру и энергично принялся за исполнение задуманного им плана – нажить состояние при помощи литературы. Собственные литературные труды его постоянно увенчивались блестящим успехом, за весьма редкими исключениями; но связь его с Балантайном принесла ему не пользу, а прямой вред, так как, по словам Логкарта, заразила его спекулятивным духом; кроме того, его доброта и склонность преувеличивать достоинства произведений других писателей

часто вовлекали его в разные литературно-издательские предприятия, почти всегда кончавшиеся для него денежными потерями. В. Скотт дорого поплатился и за то, что скрывал свое участие в торговом деле братьев Балантайнов. Сделал он это в виде уступки предрассудкам своего времени и своего круга, где никто не мог допустить мысли, чтобы адвокатская и служебная деятельность могли быть соединены с торговлею. Нужно вообще сказать, что ни он, ни братья Балантайны не умели вести торговых дел, постоянно увлекались и в конце концов были опутаны целою сетью денежных затруднений, от которых им невозможно было избавиться иначе, как тяжелым и неутомимым трудом.

Отдав все свои силы литературе, В. Скотт в течение десяти лет работал – как поэт, критик, публицист и издатель. Он ежегодно выпускал в свет по несколько важных трудов. Первое место в этом периоде его литературной деятельности занимали поэмы «Мармион» и «Дева озера». Вместе с «Песнью последнего менестреля» они рисовали художественные и блестящие бытовые картины шотландского порубежья в феодальную эпоху, и на них основалась поэтическая слава В. Скотта. Все его поэтические произведения отличаются картинностью описаний, живым интересом рассказа и вполне объективным отношением к тому, что описывается, вследствие чего критика часто сравнивала его с Гомером. Последующие поэмы В. Скотта – «Рокби», «Видение лорда Родерика» и «Триерменская невеста» – гораздо слабее и пользовались меньшим успехом; последнее зависело и от того, между прочим, что читатели начали увлекаться субъективною и могучею поэзией Байрона. Мы не станем пересчитывать изданий, предпринятых за это время В. Скоттом, но не можем обойти молчанием сочинений Драйдена и Свифта, которые были прекрасно изданы поэтом и снабжены им примечаниями и биографиями авторов. Он также тщательно издал несколько важных исторических трудов. Все это печаталось у Балантайнов, причем главным издателем был Констэбль; но в 1808 году В. Скотт поссорился с ним из-за того, что, по его мнению, «Эдинбургское обозрение» Констэбля стало проповедовать антипатриотические и революционные взгляды. Вследствие этого поэт решил сам основать торийский журнал и лично вступить в борьбу с издателем партии вигов.

Действительно, в 1809 году было основано «Quarterly Review» («Четвертное обозрение»), которое и до настоящего времени занимает почетное место в английской литературе. Но дела издательской фирмы братьев Балантайнов, куда В. Скотт вложил три четверти капитала, шли довольно плохо; поэт потерял терпение, тем более что с него требовали все

новых и новых взносов, и помирился с Констэблем.

За все эти трудовые годы В. Скотт пользовался громадной известностью как первый поэт в Англии.

По его собственному выражению, «его ласкали до бесчувствия». Но это вовсе не отуманило ему голову, и он продолжал весьма трезво смотреть на вещи. «Литературная слава, – говорит он, – не что иное, как блестящее перо на шапке, а вовсе не существенная защита головы». «Хотя я писатель, – продолжает он в другом месте, – но мне бы хотелось, чтоб эти добрые люди не забывали, что я начал свою жизнь джентльменом и вовсе не желаю перестать им быть». В этом, вместе с присущим каждому шотландцу уважением к происхождению от древней, родовитой семьи, – состояла его гордость.

В. Скотт постоянно проводил зиму в Эдинбурге, если не считать поездок в Лондон, нескольких коротких экскурсий по Шотландии и путешествия на Гебридские острова. Летом он жил в Ашестьеле. Мисс Сьюард, познакомившаяся с ним в последние годы пребывания его здесь, описывает его: «Он, гордость каледонской музыки, скорее плотен, нежели строен. Он хромает на ту же ногу, как мистер Гайлей, но несколько сильнее; ни в окладе его лица, ни в чертах нет особенного изящества; цвет лица у него здоровый, свежий, но без румянца. Станным образом у него темно-русые волосы, а ресницы и брови светлые; выражение лица открытое, искреннее, полное доброты. Когда он ведет серьезный разговор или внимательно прислушивается, глубокая мысль светится в его серых глазах, – порою под сдвинутыми бровями они загораются огнем гения. Рот, безусловно, был бы красив, если бы его не портила слишком длинная верхняя губа; прекрасный характер и сердечная доброта выражаются в его улыбке, в веселой и ласковой беседе, а в обществе он чаще весел, нежели задумчив. Речь его похожа на льющий через край источник остроумия и шутилой насмешливости, между тем как, касаясь серьезных вопросов, он нервно красноречив; произношение его отличается шотландским акцентом, но, во всяком случае, не имеет в себе ничего грубопростонародного. Память его не менее удивительна, чем у Джонсона, и, подобно ему же, он читает так монотонно и резко, что не дает возможности оценить по достоинству ни своих произведений, ни чужих...»

Семейная жизнь поэта в Ашестьеле описана его товарищем Скином. Нельзя сказать, чтобы В. Скотт с особенным увлечением занимался своими детьми в ранние годы их детства; но с того возраста, когда они могли уже слушать и понимать его, он посвящал им много времени. Они всегда свободно входили в его кабинет, и можно сказать, что он всегда и во всем

был их товарищем и другом.

Кроме того, В. Скотт раз и навсегда решил, что дети его не покинут родительского дома, поэтому для дочерей была приглашена гувернантка, которая и окончила их воспитание; сыновья ходили в Эдинбургскую высшую школу. Он сам был их репетитором. Интересно, что, несмотря на близость отношений В. Скотта и его детей, они не имели ни малейшего понятия о его литературной известности. Однажды Джеймс Балантайн спросил Софию, как ей нравится «Дева озера». «О, я ее не читала, – отвечала молодая девушка. – Папа говорит, что молодым людям не годится читать дурные стихи». В другой раз сын его, Вальтер, вернулся из школы в слезах и с царапинами на лице. Его спросили, в чем дело, и он отвечал, что подрался с товарищами, потому что его называли девчонкой. Из расспросов оказалось, что его называли «Девой озера», и он принял это за обиду, не имея ни малейшего понятия о только что вышедшей поэме отца. Когда же один из друзей В. Скотта спросил мальчика, почему все обходятся с его отцом с таким уважением, то мальчик, по зрелом размышлении, ответил: «Я знаю почему: папа всегда первый увидит зайца на охоте».

Относительно личных привычек В. Скотта Скин рассказывает, что он вставал очень рано, сам топил у себя камин, брился и одевался очень тщательно и затем садился за работу до завтрака в десять часов. Письменная конторка его была аккуратно убрана, а книги для справок лежали на полу. Тут же всегда присутствовала одна из его любимых собак. После завтрака, за которым собиралась вся семья, он работал еще два часа и в полдень отправлялся кататься верхом. Если предполагалась далекая поездка, он был на коне уже в десять часов. В пасмурные дни он работал до обеда. Если в Ашестъеле были гости, он показывал им окрестности, а если нет, то отправлялся по хозяйству в поле или в лес, где он производил насаждения. Иногда он сам принимал участие в хозяйственных работах. Его всюду сопровождали его собаки – таксы Камп и Спайс, борзые Дуглас и Перси и прекрасная легавая Майда. Любовь В. Скотта к рыжему Адаму также упоминается в его биографии. Он вообще любил верховую езду, рыбную ловлю, охоту и поощрял те же вкусы в своих детях, находя, что такого рода занятия в высшей степени полезны для здоровья. Что касается отношений В. Скотта к жене, то Скин рассказывает следующий анекдот. «В одно из отсутствий Вальтера Скотта его жена отделала маленькую гостиную коттеджа новым ситцем; все было устроено по последней моде, она и девочки с нетерпением ожидали увидеть удовольствие, которое доставит В. Скотту этот маленький сюрприз. Его свели во вновь отделанные комнаты: он невозмутимо уселся на приготовленное для него

кресло и стал наслаждаться спокойствием у собственного очага, радуясь возвращению в семью и вовсе не замечая никаких перемен, пока наконец вышедшая из терпения г-жа Скотт не обратила его внимание на то, что было сделано. Досада его при мысли, что он огорчил жену своим невниманием, была неопишима, и в течение вечера он несколько раз восторгался новой обивкою, чтобы по возможности утешить „маму“.»

Американский писатель Вашингтон Ирвинг однажды посетил В. Скотта, который провел его в каменоломню, где были заняты его рабочие. «Лицо самого бедного из них осветилось радостью при его приближении, – рассказывает Вашингтон Ирвинг. – Все бросили работу, чтобы перемолвиться словечком с „барином“. Между ними находился высокий, бравый старик в круглой белой шапке; у него был свежий здоровый цвет лица и серебристые волосы. Он только что собирался поднять на плечи корыто с цементом, но остановился и стоял, смотря на Скотта и ожидая своей очереди. Скотт ласково подошел к нему и попросил понюшку табаку. Старик вынул из кармана старую роговую табакерку. „Эй, дед, – заметил Скотт, – опять это старье! Где же у тебя красивенькая французская табакерка, которую я привез тебе из Парижа?“ „По правде-истине, ваша честь, – отвечал старик, – такая штучка не для будней“. Выходя из каменоломни, Скотт сообщил мне, что во время своего пребывания в Париже он купил несколько мелких вещей для подарков своим рабочим и среди прочего табакерку, о которой шла речь. „Им не столько нравилась стоимость подарков, – прибавил он, – сколько приятна была мысль, что *барин* вспомнил о них, даже будучи так далеко“.»

Глава III. 1814-1825

Вальтер Скотт издает первый свой роман «Уэверли» и переходит на новое литературное поприще. – Успехи его как романиста. – Слава и известность. – Жизнь в Абботсфорде

7 июля 1814 года вышел в свет без имени автора первый роман В. Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет тому назад». С одной стороны, ему хотелось, как он сам выражался в письмах, воскресить в форме романа старые исчезающие шотландские обычаи, с другой – его побудил перейти на новый литературный путь незначительный успех его последних поэм, успех «Уэверли» превзошел все ожидания автора, скрывшего свое имя. Все журналы заговорили о новом литературном светиле; это так поощрило В. Скотта, что он тотчас принялся за новый роман, и через шесть недель был готов «Гай Маннеринг». К такой лихорадочной деятельности его побуждало также расстройство коммерческих дел Балантайна, в фирме которого находились все его деньги.

В то же время он сделал последнюю попытку в области поэзии и написал поэму «Повелитель островов» – произведение, имевшее сравнительно небольшой успех. Что касается «Гая Маннеринга», то издание в 2000 экземпляров было распродано в два дня, и это окончательно заставило автора бросить поэзию и перейти на новое литературное поприще. С тех пор В. Скотт написал только две небольшие поэмы: «Ватерлоо» и «Гарольд», подтвердившие упадок его стихотворного таланта. Он энергично принялся за свои романы и в течение одиннадцати лет, то есть до 1825 года, издал двадцать один роман в пятидесяти восьми томах. Невозможно подробно говорить о каждом из них, но нельзя не упомянуть о тех, которые английской читающей публикой признаются лучшими. В 1816 году появился «Антикварий». Это было любимое произведение В. Скотта, но сначала оно понравилось менее «Гая Маннеринга», хотя впоследствии пользовалось такою же известностью. О первых трех вышеназванных романах Гёте выразился так: «Все в них прекрасно: материал, исполнение, действие, типы». К концу того же года вышли «Черный карлик» и «Старый смертный». Хотя и здесь В. Скотт не подписался, но все узнали автора «Уэверли». Критика расхвалила «Старого смертного» еще более, чем предыдущие романы. И действительно, он заслуживал подобных похвал. Для «Уэверли» материалом служили юношеские мечты автора, в «Антикварии» и «Гае Маннеринге» он

описывал обычаи и типы, лично ему знакомые; что же касается «Старого смертного», то ему пришлось изучать целые библиотеки старинных хроник, чтобы воскресить отдаленную историческую эпоху. «Черный карлик» и «Старый смертный» составляют первую серию «Рассказов моего хозяина». Во вторую вошли «Роб Рой» и «Сердце Мидлотиана», появившиеся в течение следующих двух лет. Оба были очень популярны. Во втором из них выведены типы шотландского простонародья, которому В. Скотт весьма сочувствовал; он вообще высказывал мнение, что в добрых простых людях из народа лучше виден характер нации, чем в представителях высших слоев общества. Третья серия «Рассказов моего хозяина» включает в себе «Ламермурскую невесту», которую В. Скотт диктовал во время тяжелой болезни; замечательно, что, выздоровев, он ничего не помнил из своего романа, кроме главных эпизодов, знакомых ему с детства, так как рассказ был основан на истинном происшествии. Гладстон, говоря с величайшею похвалою о «Ламермурской невесте», обращает особенное внимание на искусство, с которым В. Скотт сумел наряду с глубоким трагическим элементом представить веселый юмор и комизм, выраженные в личности Калеба Бальдерстона, одного из лучших созданных автором типов. Третья серия «Рассказов моего хозяина» включает еще одну повесть – «Легенду о Монтрозе».

В 1820 году вышел «Айвенго», который многими считается величайшим произведением В. Скотта – как по историческому значению, так и по художественности исполнения. С его появлением литературная слава автора достигла своей высшей точки. Изданные затем «Монастырь» и «Аббат» имели гораздо меньший успех – может быть, вследствие того, что автор ввел в них фантастический элемент. «Замок Кенильворт» и «Квентин Дорвард», однако, подняли репутацию В. Скотта на прежнюю высоту; последний роман особенно читался во Франции, так как в нем изображена эпоха Людовика XI. Остальные романы, вышедшие до 1825 года, гораздо слабее; «Судьба Пейджеля» и «Певерил Пик» относятся к истории Англии, «Обрученница» и «Талисман» – к эпохе крестовых походов; в «Пирате» мы находим картины быта Шотландских островов, а «Редгонтлет» и «Сен-Ронанский источник» описывают современную автору жизнь. В «Редгонтлете» много любопытных сведений о юности автора. Прибавим, что читатели приняли очень холодно два последних романа.

Популярность В. Скотта была неслыханная. Ни один автор романов до того времени не пользовался подобною славою, и, несмотря на это, он сумел на некоторое время сохранить тайну своего имени. В предисловии к общему собранию своих романов автор объясняет, почему сделал это: во-

первых, он сначала боялся пошатнуть свою поэтическую известность неудачною попыткой в новой литературной отрасли, во-вторых, считал несовместным звание романиста со своим общественным и служебным положением и к тому же не терпел разговоров о собственных литературных трудах. Нужно сказать, что интерес, возбужденный таинственным автором «Уэверли», был настолько велик, что вызвал появление множества статей и целых сочинений, занимавшихся рассмотрением вопроса о том, кто такой «великий неизвестный». Называли то брата автора, Томаса Скотта, то товарищей его, Эрскина и Элисса, то критика Джеффрея и многих других. Между тем на континенте имя его уже появлялось на переводах его сочинений.

Литературная деятельность Б. Скотта в этот период его жизни не ограничивалась одними романами. Он издавал различные исторические материалы, писал критические статьи в журналах, давал обзоры современных исторических событий в «Эдинбургском ежегоднике», принимал участие в «Британской энциклопедии», составил биографию Смоллета, Стерна и других английских писателей и сочинил две драмы – «Голидонская гора» и «Макдуфский крест», за которые восторженные поклонники превозносили его, между тем как даже Локгарт находил их плохими. Под названием «Письма Павла к родственникам» В. Скотт описал свою поездку во Францию в 1815 году после сражения при Ватерлоо. Письма эти отличаются безыскусным откровенным тоном и были сначала адресованы жене и друзьям. Хотя автор являлся в них односторонним англичанином-тори, они, тем не менее, изобилуют интересными историческими анекдотами и местами весьма юмористичны.

В течение описываемого в «Письмах Павла» пребывания В. Скотта в столице Франции союзные государи и их полководцы оказали ему большое внимание, и он впоследствии любил рассказывать о своем свидании с императором Александром I. Он был представлен государю на обеде у лорда Каткарта и там же познакомился с атаманом Платовым, который, хотя и не мог объясняться с ним ни на одном языке, но, тем не менее, очень его полюбил и приглашал выехать с ним на следующий парад, обещая дать ему самую смиренную украинскую лошадь.

Блюхер тоже оказал ему большие любезности, но это не помешало В. Скотту очень насмешливо отзываться о пруссаках. Вообще, в этот период своей жизни В. Скотт мог назваться вполне счастливым человеком. Помимо самых благоприятных семейных обстоятельств, на его долю выпали почет, слава и, наконец, давно желанное богатство.

Как секретарь уголовного суда он получал 1300 фунтов стерлингов,

как шериф – 300 и выручал за свои сочинения не менее 10 000 фунтов стерлингов в год. Давно лелея мечту основать особую отрасль древнего рода Скоттов и достигнуть положения средневекового вождя шотландского клана, он стал скупать разные поместья, покинул скромный Ашестель и переселился на берега Твида в имение, которое назвал Абботсфорд (то есть Брод аббата) в честь соседнего брода на Твиде и Мельрозского аббатства. Мало-помалу В. Скотт скупил все соседние земли у мелких собственников, которые, пользуясь его добротой и щедростью, продавали ему голые пустыри за баснословные цены. Он с любовью устраивал свое новое жилище, которое, по словам Локгарта, сделалось чем-то вроде литературной Мекки, куда стекались принцы, аристократы и литераторы – английские и иностранные.

В 1818 году принц-регент пожаловал романисту титул баронета и тем отчасти удовлетворил его феодальные мечты. Абботсфорд до настоящего времени сохранился без всякого изменения. Это замок с бесконечными шпицами, башенками и балконами; вокруг стоят роскошные леса, посаженные поэтом в дотле бесплодной местности. Все внутри дома сохраняется потомками В. Скотта в том виде, в каком было при нем: оружие и картины остались в прежнем порядке, книги стоят на тех же местах в библиотеке, заключающей до 70 000 томов. В бывшем рабочем кабинете поэта, в нише под стеклянным колпаком, хранится одежда, которую он носил перед смертью: широкий зеленый сюртук с большими пуговицами, клетчатые панталоны, тяжелые башмаки, шляпа с большими полями и толстая трость. В Абботсфорде В. Скотт проводил большую часть года, и жизнь семьи здесь была такой же, как и в Ашестеле, то есть носила вполне семейный, патриархальный характер.

Знаменитый американский писатель Вашингтон Ирвинг, сочинения которого В. Скотт высоко ценил, посетил Абботсфорд в 1817 году и так описывает свою поездку: «Шум моего экипажа нарушил спокойствие усадьбы. Раньше всех выскочила стерегущая замок черная борзая и, вскочив на камни ограды, подняла свирепый лай. Эта тревога вызвала наружу целый бешено лающий собачий гарнизон. Вскоре показался сам хозяин. Я сразу узнал романиста, так как видел его портреты. Он, прихрамывая, шел по песчаной аллее, опираясь на большую трость, но двигаясь быстро и энергично. Около него шла большая охотничья собака стального цвета; она вела себя совершенно степенно, не принимала участия в шуме, производимом ее собратьями, и, видимо, считала, что должна поддержать честь дома и вежливо встретить меня. Еще не доходя до ворот, Скотт крикнул мне радушным голосом приветствие и осведомился о

Кэмпбле (давшем Ирвингу рекомендацию к В. Скотту). Подходя к дверце экипажа, он крепко пожал мне руку и сказал: „Подъезжайте же скорее к дому, вы как раз успели к завтраку, а после вы увидите все чудеса Мельрозского аббатства“. Я отказался было идти за стол на том основании, что уже завтракал. „Нет, нет, постойте, – перебил Скотт. – Утренняя поездка по шотландским холмам дает полное право завтракать во второй раз“. Меня быстро подвезли к дому, и через несколько минут я уже сидел за столом. Не было никого, кроме семьи Скотта, состоявшей из госпожи Скотт, старшей дочери Софии – красивой девушки лет семнадцати, Анны, моложе ее на два-три года, подростка Вальтера и Чарлза, веселого мальчика одиннадцати или двенадцати лет. Я скоро почувствовал себя как дома и от души счастливым благодаря радушию хозяев. Мне хотелось просто сделать утренний визит, но скоро стало ясно, что меня отпустят не так быстро.



Анна Скотт. Акварель Уильяма Николсона, 1818 (деталь)



Софья Скотт. Акварель Уильяма Николсона, 1818 (деталь)

„Вы не должны думать, что осмотреть наши окрестности так же легко, как просмотреть утром газету, – сказал Скотт. – Они требуют нескольких дней изучения от наблюдательного путешественника, питающего известную слабость к старосветскому хламу. После завтрака вы посетите Мельрозское аббатство; мне нельзя пойти с вами, так как у меня есть кое-какие хозяйственные дела, но я поручу вас моему сыну Чарлзу: он глубокий знаток всего, что касается старой развалины и ее окрестностей. Он и мой друг Джонни Бауэр скажут вам всю правду о ней и еще очень многое, чему вы не обязаны верить, если вы не истинный и ни в чем не сомневающийся антикварий. Когда вы вернетесь, мы пойдем с вами побродить по окрестностям. Завтра мы осмотрим Ярроу, а послезавтра съездим в Драйбургскую обитель, прекрасную старую развалину, стоящую осмотра“. Одним словом, Скотт еще не успел окончить изложения всех своих планов, как я уже обещал остаться на несколько дней, и мне казалось, что я сразу очутился в заколдованном царстве романтизма».

После завтрака, в то время как В. Скотт, по всей вероятности, писал главу из «Роб Роя», Ирвинг в обществе Чарлза осмотрел Мельрозское аббатство и долго разговаривал со стариком Бауэром, сторожем его, который с удовольствием делился своими сведениями с друзьями шерифа. «Он иногда приходит сюда, – рассказывал Джонни, – в обществе важных

господ и тотчас зовет: „Джонни, Джонни Бауэр!“ – и когда я выхожу к ним, я наверно знаю, что он встретит меня шуткой и ласковым словом. Он будет стоять и болтать со мной и шутить не хуже деревенской кумушки – и подумайте, это ведь человек с таким *страшным* знанием истории!» По возвращении из аббатства Ирвинг нашел В. Скотта уже готовым к прогулке.

«Когда мы пошли, – пишет он, – все собаки поместья явились, чтобы сопровождать нас. Домашние животные Скотта были его друзьями. Все, что его окружало, исполнялось видимой радостью в его присутствии. Когда мы пришли на холмы, откуда видна была значительная часть окрестностей, В. Скотт сказал: „Теперь я привел вас, как странника в „Путешествии пилигрима“ Беньяна, на вершину гор наслаждения, чтобы показать Вам все эти прекрасные места...“ Я некоторое время смотрел вокруг себя с немым изумлением, могу сказать, почти с разочарованием. Все пространство, которое мог обнять мой взор, состояло из непрерывного ряда волнистых холмов; вся местность была однообразна и совершенно безлесна.

Я не мог не выразить своих мыслей вслух. Скотт что-то пробормотал про себя и серьезно взглянул на меня... „Это, может быть, упрямство с моей стороны, – сказал он наконец, – но я продолжаю утверждать, что, на мой взгляд, эти серые холмы и вся эта дикая порубежная страна обладают своеобразною красотой. Я люблю самую безлесность этой местности; она открыта, сурова и уединённа. После того как приходится пропутешествовать несколько времени среди прекрасных окрестностей Эдинбурга, похожих на роскошные сады, я начинаю тосковать по моим убогим, серым холмам; и, если бы я не увидел вереска хоть раз в течение года, мне кажется, я бы умер“.»

Время от времени в Абботсфорде устраивались сельские праздники, куда собирались окрестные жители и все члены фамилии Скоттов, от поселянина до герцога. Среди увеселений первое место занимала Абботсфордская охота, происходившая ежегодно в день рождения старшего сына. В ней тоже принимали участие все соседи, и за стол садились не менее тридцати или сорока человек; время проходило в шумном веселье, в котором сам хозяин принимал живейшее участие. Еще веселее были праздники после жатвы, справлявшиеся по всем правилам древнего феодального этикета. Бывали там и аристократические празднества по поводу приезда каких-либо знаменитостей, например принца шведского Густава Вазы, принца Саксен-Кобургского и других, но настоящий бал дан был только один раз, по случаю окончательного устройства Абботсфорда и помолвки старшего сына сэра Вальтера Скотта. В Эдинбурге В. Скотт,

несмотря на свою славу и богатство, вел такую же жизнь, как и прежде: ревностно исполнял обязанности секретаря уголовного суда, занимался литературой, а свободное время посвящал обществу. В числе его друзей были его издатели Балантайны и Констэбль, но круг его знакомства не ограничивался одними литераторами, сослуживцами и родственниками. С ним старались сблизиться представители самых высших слоев общества. Так, во время своей поездки в Париж он познакомился с герцогом Веллингтоном, который всегда затем оказывал ему дружеское внимание. Что касается В. Скотта, то он, как горячий патриот-тори, чуть не поклонялся великому полководцу. Точно так же принц-регент, впоследствии король Георг IV, очень ценил В. Скотта и предложил ему титул поэта-лауреата (придворного поэта) с жалованьем в 400 фунтов стерлингов, но романист отказался от него ввиду стесненного материального положения многих других литераторов и предложил на эту должность поэта Саути. В числе известных писателей, бывших друзьями В. Скотта, нужно назвать Крабба, Вордсворта, Мура и Байрона. Сначала Скотт и Байрон были соперниками и даже вели между собой литературную полемику, но впоследствии они познакомились в Лондоне и весьма близко сошлись, несмотря на то, что один был добродушным оптимистом, а другой – страстным и желчным пессимистом. Впоследствии друзья всегда отзывались друг о друге с симпатией и уважением.

Последнюю поездку свою в Лондон В. Скотт предпринял в 1821 году по случаю коронации принца-регента. Эта церемония была совершена с величайшим феодальным великолепием и порадовала сердце потомка древних рыцарей. Когда Георг IV приехал в 1822 году в Эдинбург, В. Скотт был главным распорядителем блестящей встречи, устроенной для него жителями. Писатель в течение всей своей жизни относился с величайшим уважением и преданностью к своему королю, и по мере того как король становился консервативнее, можно было наблюдать такое же усиление консерватизма и в романисте. Прибавим, что В. Скотт вообще мало занимался политикой, а если ему и случалось касаться ее, то он всегда высказывался как крайний консерватор.

В 1825 году старший сын романиста, поступивший на военную службу, женился и переехал с женою в Дублин, где стоял его полк. В июле того же года В. Скотт с дочерью Анною и Логкартом, уже несколько лет женатым на старшей его дочери Софии, поехал в Ирландию с целью посетить сына и проехаться по некоторым из живописных ирландских графств. Два месяца, проведенные им в Ирландии, были, по его собственным словам, нескончаемой овацией, особенно в Дублине, где все,

от лорда-наместника до последнего лавочника, наперерыв старались выразить уважение и симпатию великому английскому романисту.

Глава IV. 1825-1830

Банкротство Балантайна и Констэбля. – Разорение Вальтера Скотта. – Семейные печали. – Смерть леди Скотт.

Путешествием в Дублин оканчивается счастливая эпоха в жизни В. Скотта. Все его богатство, все его феодальное величие как главы Скоттов оказалось основанным на песке и рухнуло вследствие страшного коммерческого кризиса, разразившегося в Англии в 1825 году. Прежде всего обанкротились агенты Констэбля, книгопродавцы Герт и Робинзон; затем – Констэбль и Джеймс Балантайн (Джон Балантайн незадолго до этого умер). Это было сильным и совершенно неожиданным ударом для романиста, который сначала, однако, еще надеялся на счастливый исход дела. Мы приводим ниже выписки из его дневника, что лучше всего покажет, каким образом он отнесся к собравшейся над его головою грозе. 14 декабря 1825 года он занимает еще 10 000 фунтов стерлингов под поместье и отдает их фирме для поддержания ее дел, надеясь этим все поправить и получить возможность спать спокойно.

«18 декабря. Если дела пойдут дурно в Лондоне, то жезл чародея выпадет из рук неизвестного. Его тогда поистине назовут „слишком хорошо известным“. Сказочный пир фантазии исчезнет вместе с чувством независимости, у него отнимется радостная уверенность, что утром он может просыпаться с веселыми мыслями и спешить передать их бумаге; ему невозможно уже будет подводить каждый месяц итог этим мыслям, как средствам для насаждения лесов и покупки пустырей, заменяя сказочные мечты другими мечтами о будущих прогулках по глухим рощам к уединенным источникам и местам, которые дороги влюбленным. Этого больше не будет; но я могу заняться степенным хозяйственным делом, то есть писать историю и тому подобное. Такие труды не встретят прежнего восторженного отношения; вообще мое мнение таково: если узнают, что автор принужден писать для зарабатывания куска хлеба или, во всяком случае, для улучшения своего материального положения, то это унизит его и его произведения в глазах публики. Ему уже не станут оказывать прежнего уважения. Это – горькая мысль, но если она вызывает слезы, то пусть они льются. Мое сердце связано с созданным мною поместьем – едва ли есть там хоть одно дерево, которое не я бы посадил. Что за жизнь была моя! – Полуобразованный, почти совершенно предоставленный самому себе, я набивал свою голову всяким вздором, и товарищи долго ценили

меня меньше, чем я того стоил. Затем я пошел вперед, и меня считали смелым и умным малым, вопреки всем тем, кто видел во мне только мечтателя; в течение двух лет страдал я душою и хотя потом излечился, но старые раны будут отзываться до могилы. То богач, то нищий, накануне разорения я открыл почти неиссякаемый источник богатства. Теперь, на вершине гордости, я разбит и почти совершенно обезоружен, – если не получится хороших известий, – и все только потому, что Лондону угодно волноваться... И вот в свалке буйволов и медведей бедный кроткий лев не знает куда деться.

Чем это кончится? Бог один знает – другого ответа нет. В конце концов, никто по моей вине не потеряет ни одного пенни – это мое утешение. Люди подумают, что гордость по справедливости наказана. Пусть они в своей гордости утешаются мыслью, что мое падение сделает их выше или даст им возможность хоть казаться выше. Мне же будет служить удовлетворением мысль, что мое благосостояние принесло выгоды многим, и надежда, что хоть некоторые простят мне мое временное богатство за чистоту моих намерений и за искренность моего желания делать добро бедным. Многие сердца опечалятся в коттеджах Абботсфорда. Я наполовину решил никогда не возвращаться туда. Как могу я войти в мой дом после такого унижения? Как жить запутавшимся в долгах бедняком там, где я был некогда так богат и уважаем? Я должен был вернуться туда в субботу, веселый и счастливый, и хотел принимать там друзей своих. Мои собаки напрасно будут ждать меня. Это ребячество, но мысль расстаться с этими бессловесными тварями более расстроила меня, чем все только что записанные печальные размышления. Бедные животные, нужно подыскать им хороших хозяев! Может быть, найдутся люди, которые, любя меня, будут любить и моих собак за то, что они были моими. Но мне необходимо покончить с этими мрачными предчувствиями – или я потеряю то душевное настроение, с которым человек обязан встречать горе. Мне кажется, что я чувствую, как моя собака кладет мне лапу на колено, мне слышится вой, с которым она ищет меня повсюду. Это вздор, конечно, но добрые твари проделали бы все это, если бы могли понимать настоящее положение вещей. Мне приходит в голову странная мысль: когда я умру, будет ли вынут дневник этот из роскошной конторки в Абботсфорде и прочитан с удивлением, что богатый баронет когда-то испытал страх такого удара, или его найдут в какой-нибудь бедной меблированной квартирке, где обедневший потомок рыцарей повесил свой герб и где два-три старых друга грустно посмотрят один на другого и прошепчут: „Бедный человек с добрыми намерениями... Враг только самому себе... Надеялся, что у него

неиссякаемый источник... Зачем только он принял этот глупый титул?“ Кто может ответить на этот вопрос? Бедный Билль Лэдлоу! Бедный Том Пурди! От таких известий заболит сердце у вас и у многих других бедняков, которым мое благосостояние давало насущный хлеб... Балантайн поступает так, как того можно было ожидать, и меньше думает о своих потерях, чем о моем разорении. Я старался обогатить его – а теперь, теперь все пойдет прахом. Но у него останется журнал – это утешительно. Наверное, им не найти лучшего издателя. *Им*, – кто будут эти *они*, эти неизвестные новые заправки, которым будет дано право располагать как им будет угодно всем, что мне принадлежит. Какой-нибудь сухой банкир – кто-нибудь из этих обладателей миллионов! Я попытался отделаться от этих печальных мыслей, записывая их; я успокоюсь еще больше, принявшись за „Историю французского Конвента“. Благодарю Бога, что могу работать с разумным спокойствием. Как-то Анна перенесет это несчастье? Она горяча, но тверда в серьезных обстоятельствах, хотя раздражительна в мелочах. Мне приятно, что Логкарт и его жена уехали. Не могу сказать – почему, но я рад, что мне придется переживать мое горе в одиночестве и что никто не расстроит меня соблезнованиями, как бы искренни и нежны они ни были.

Половина девятого. Я закрыл эту тетрадь в ожидании грозящего мне разорения. Через час я открываю ее (благодаря Бога) с надеждою, что все устроится благополучно и честно в коммерческом смысле. Каделль приехал в восемь и прочел письмо от Герста и Робинзона, извещающее, что они выдержали грозу...

19 декабря. Балантайн был здесь перед завтраком. Он с доверием относится к вчерашним новостям. Констэбль зашел и просидел с час. Старый джентльмен тверд как скала. Он хочет на будущей неделе ехать в Лондон. Надо, однако, сесть за работу.

22 декабря. Я написал вчера шесть мелко исписанных страниц, что составит около двадцати четырех страниц печатных. Но всего лучше то, что они удачны... Напев одной народной песни звучит у меня сегодня целый день в ушах, и я перед обедом написал стихи для него... Интересно было бы знать, хороши ли они... Ах, бедный Вилль Эрскин, ты мог бы мне сказать это и сказал бы... Не знаю, что могло заставить меня совершить нечто столь необычное для меня за последние годы, а именно по собственной воле написать стихи. Я думаю, что это свершилось по тому же импульсу, по которому птицы поют, когда пройдет гроза.

24 декабря. У Констэбля новый план: издать сочинения автора Вэверлея более роскошно. Он говорит, что может заработать на этом до 20

000 фунтов стерлингов, и щедро предлагает мне какую угодно долю в барышах. Я не имею особенных прав на них, так как мне придется написать только примечания, что не особенно трудно; в то же время получить несколько тысяч было бы хорошим делом...

14 января. Получено странное, таинственное письмо от Констэбля, уехавшего в Лондон на почтовых. Оно похоже на одно из тех писем, которые люди пишут, когда хотят намекнуть на грядущую неприятность, но не высказываются о ней прямо. Я думал, что он две недели тому назад был в Лондоне, чтобы распорядиться имуществом для уплаты по обязательствам, как и должен был сделать. Хорошо, я принужден быть терпеливым... Но этот страх очень томителен... Балантайн в своем письме упоминает о поездке Констэбля, но не выражает особенных опасений. Он хорошо знает Констэбля, видел его перед отъездом и не сомневается в том, что тот сумеет разобрать все, что бы там ни было запутанного. Поэтому я не стану беспокоиться. Я уверен, что сумею не поддаться тревоге. Я не вижу, почему с Божьей помощью нельзя отогнать тревожные мысли, предвещающие зло, но не исправляющие его!»

В Лондоне Констэбль не мог ничего сделать. Герст и Робинзон были не в состоянии выдержать, несмотря даже на помощь Констэбля, который бесился, бросался из одного банка в другой за ссудой под издания и просил В. Скотта занять для него в Эдинбурге 20 000 фунтов и переслать их в Лондон. Но раньше еще, чем эта просьба дошла до романиста, компаньон Констэбля откровенно признался ему, что дела фирмы окончательно и безнадежно расстроены.

Мистер Скин рассказывал потом Логкарту, что в тот вечер, когда В. Скотт узнал о несостоятельности Герста и Робинзона, он обедал у него и находился в своем обыкновенном расположении духа, причем вел веселую, непринужденную беседу о разных предметах; но при прощании романист прошептал хозяину: «Скин, мне нужно кое о чем переговорить с вами; будьте столь добры и загляните ко мне завтра, когда будете отправляться в парламент». На следующий день, в половине десятого утра, Скин заехал к В. Скотту и застал его за работою в кабинете. Он встал при входе гостя и сказал: «Друг мой, пожмите мне руку – руку нищего».

В. Скотт рассказал ему также, что Балантайн только что был и сообщил о полном и неминуемом их разорении; затем он прибавил: «Не думайте, что я засяду дома и в бездействии буду горевать о том, чему нельзя помочь. Я работал над „Вудстоком“, когда вы вошли, и тотчас же снова возьмусь за перо, как только вернусь из суда. Я намереваюсь опять обедать с вами в воскресенье и надеюсь сообщить вам, что моя работа

подвинулась». И действительно, в течение следующих дней он написал почти полкниги.

Когда подвели итоги долгам фирмы Балантайна, то оказалось, что сумма их дошла до 117 000 фунтов стерлингов, при этом ответственным лицом являлся один только В. Скотт, так как Балантайн не имел никакого состояния. Констэбль оказался должным еще большую сумму. Если бы В. Скотт согласился поступить чисто коммерческим образом и объявить себя несостоятельным, то после продажи его собственности кредиторы получили бы гораздо больший процент, чем кредиторы Констэбля; сам романист освободился бы от всяких долгов и мог бы опять нажить себе большое состояние. Но В. Скотт не мог никогда забыть, что он прежде всего «джентльмен», поэтому он решил заплатить все, до последнего гроша, и только попросил кредиторов дать ему несколько лет отсрочки. Со всех сторон ему предлагали денежную помощь. Старший сын и невестка отдавали ему все свое состояние; эдинбургские и лондонские банкиры также высказали готовность помочь романисту; неизвестное лицо открыло ему кредит в 30000 фунтов стерлингов. Глубоко тронул бедного поэта мистер Пуль, учитель музыки его дочери, который принес ему все свои сбережения, равнявшиеся 500 фунтам стерлингов. Но как бы там ни было, В. Скотт не принял ни одного из этих предложений и на все давал один и тот же ответ: «Я не возьму в долг ни одного пенни, а уплачу все – или умру за работой». Кредиторы, со своей стороны, уже через несколько дней начали высказываться в смысле благоприятном для должника, и В. Скотт ожил при мысли, что его предложение будет принято. Дневник его за это время содержит весьма трогательные страницы, посвященные воспоминаниям о жизни последних лет. Не одно теплое слово сказано о служащих и о простом народе, с которым как землевладелец он постоянно имел дело. Не раз упоминает он также об отраде и успокоении, доставляемых ему работой.

«24 января. Я сегодня в первый раз (после того, как узнал о своем разорении) отправился в суд, и мне казалось, что все заняты только мною и моими бедами. Без сомнения, многие думали обо мне и все, по-видимому, с сожалением; некоторые были, очевидно, огорчены. Замечательно, как различны способы, которыми люди стараются выразить мне свое сочувствие. Иные улыбались, здороваясь со мною, точно хотели сказать: „Не думай об этом, друг мой! Мы совершенно забыли обо всем“. Другие приветствовали меня с тою напускною серьезностью, которая так противна на похоронах. Самые благовоспитанные – все они, видимо, сочувствовали мне – просто пожали мне руку и ни о чем не распространялись. Если меня

будут теснить и примут судебные меры, я должен буду употребить все средства законной защиты и объявить себя несостоятельным. Во всяком случае, это ход дела, который я посоветовал бы клиенту. Но на суде чести я за такой поступок заслужил бы потерю своих баронетских шпор. Нет, если они только согласятся – я готов быть их вассалом на всю жизнь и добывать из рудника моего воображения драгоценные камни не для собственного обогащения, а для того, чтобы уплатить по моим обязательствам. И это не потому, чтобы я питал отвращение к эпитету „несостоятельный“ – мне его, по всей вероятности, уже дают, – но потому, что не хочу лишиться моих кредиторов тех материальных выгод, которые могу доставить им с помощью еще сохранившихся у меня умственных и литературных сил».

Известия, получаемые В. Скоттом относительно его дел, становились с каждым днем все тревожнее. Выяснилось, что долги были гораздо многочисленнее, чем это казалось сначала. От В. Скотта требовали не менее 130 000 фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Тяжелые дни приходилось переживать бедному романисту. Одно время он был вполне уверен, что ему придется лишиться не только Абботсфорда и остального имущества, но даже проститься со свободой. Это казалось ему всего ужаснее, как он упоминает в своем дневнике, потому что заключение в долговой тюрьме уничтожило бы силу его фантазии и лишило бы возможности работать и помочь заработком себе и другим. Однако все в конце концов уладилось, и общее собрание кредиторов решило оставить Абботсфорд во владении романиста. Он же обязался ограничить свои издержки казенным жалованьем и отдавать кредиторам весь свой заработок и все, что получит от продажи остального своего имущества.

Согласившись на это, В. Скотт тотчас приступил к точнейшему исполнению своих обещаний. Он продал свой эдинбургский дом, поселил семейство в Абботсфорде, нанял для своих деловых приездов в город скромную квартиру и начал без усталости работать – иногда по двенадцать часов сряду не отходил от своей конторки, забывая общество, отказывая себе во всем, даже в прогулке. Издержки свои поэт ограничил до минимума. В это время ему минуло пятьдесят пять лет. О выезде из эдинбургского дома много раз упоминается в дневнике В. Скотта. В одном месте говорится: «С печалью оставляю я здесь некоторые гравюры и небольшие украшения, которыми некогда гордилась леди Скотт; но теперь она равнодушна к ожидающей их судьбе, именно – быть проданными с аукциона. Я же никак не могу безучастно относиться к предметам, когда-то имевшим для меня известный интерес, как бы ни были они сами по себе ничтожны. Но я рад, что она, при плохом ее здоровье и недостаточном

количестве других забот, смотрит на это иначе и не связывает никаких семейных и домашних воспоминаний с предстоящею неприятною процедурой».

«15 марта. Сегодня утром я в последний раз покидаю №39 на Кэстл-стрит. „Хижина“ была удобна, и я привык к ней. Я вовсе не рассчитывал на перемену в этом отношении, пока буду иметь место в суде. При всех своих прежних переменах жилища я всегда переходил от хорошего к лучшему – теперь наоборот. Покидаемый дом предназначается к продаже, и я перестаю быть эдинбургским гражданином в смысле домовладельца, чем отец мой и я были в течение, по крайней мере, шестидесяти лет. Итак, прощай, бедный № 39, желаю тебе никогда не оказывать гостеприимства худшим людям, чем те, которые теперь покидают тебя. Чтобы не сразу оставить Лары в полном одиночестве, леди Скотт и Анна проживут здесь до воскресенья. Что касается меня, то я, как сказано, уезжаю сегодня утром».

Несмотря на свои заботы, В. Скотт неутомимо трудился и писал около двух печатных листов в день, пока не окончил «Вудстока». Помимо этого он занимался еще и другими литературными работами: издал «Жизнь Кэмбля» и политическую брошюру под заглавием «Письма Малаки Малагровзера». Один «Вудсток», написанный в три месяца, принес его кредиторам больше 8000 фунтов стерлингов, и В. Скотт начал надеяться, что в не особенно далеком будущем совершенно разделается с долгами. В своем дневнике он замечает, что посадил три дерева, по росту которых будет судить об ожидающем его успехе. Но мало-помалу ежедневные заметки его становятся печальными. Семейные горести присоединяются к материальным невздам. Любимый внук романиста, маленький Джонни, медленно угасает от неизлечимой болезни. Ему посвящено много задушевных и горестных строк. Но судьба готовит семье новый удар. Здоровье леди Скотт, всегда слабое, стало ухудшаться под влиянием переживаемых тревог.

«28 марта. Мы уже некоторое время прожили в уединении. Чувствуешь искушение допытаться у себя: по сердцу ли такое крайнее одиночество? Могу по совести ответить – да! Я уже в детстве страстно любил уединение и подростком убегал из людского общества, чтобы насладиться мечтами и воздушными замками... Так было до 18-летнего возраста, пока в моем сердце не пробудилась любовь вместе с честолюбием и другими страстями; тогда я перестал чуждаться общества, но временами, тем не менее, уединялся, и даже с радостью. Я пресыщен обществом и, за исключением одного или двух лиц высокоинтеллигентных, остроумие и

юмор которых забавляют меня, я не имею желания видеть общества ни высшего, ни низшего, ни среднего. К этому чувству не примешивается ни малейшего оттенка человеконенавистничества, на которое я смотрю как на тяжкий грех. Если Господь терпит худшего из нас, то мыто уже можем терпеть один другого. Когда мне приходилось бывать в обществе, я всегда старался доставлять удовольствие окружающим меня людям. Но при всем том я предпочел бы жить в уединении и желал бы, чтобы моя служба, во всех отношениях для меня удобная, не требовала моего присутствия в Эдинбурге. Но так должно быть, а в моей маленькой квартирке я буду достаточно одинок.

1 апреля. Ex uno die disce omnes. Встал в семь часов или еще раньше, занимался и писал до завтрака (в обществе Анны), около десяти без четверти. Потом опять пишу и занимаюсь до часу. В это время я сегодня съездил в Гёнтли-Борн и вернулся домой пешком по живописным тропинкам, проложенным через леса, разведенные мною. По временам я болтал с Томом Пурди, который нес мой плед; он имеет право заговаривать со мною, когда ему вздумается, и сегодня рассказывал мне длиннейшие охотничьи истории, происходившие лет двадцать тому назад. Порой я предавался печальному или радостному раздумью или следил за выходками двух любопытных крысоловок и прекрасного щенка волкодава. Так время прошло до той минуты, когда я стал писать эти строки. Дальше буду высказывать предположения: я, вероятно, приду в сонливое состояние после того, как закрою эту тетрадь, и, может быть, засну до обеда. Затем я несколько времени поболтаю с леди Скотт и Анной, съем немного бульона или супа и кусок просто зажаренного мяса; это главное занятие человека, по мнению Джонсона, будет скоро закончено. Полчаса проведу с семейством, полчаса побалую себя сигарой, стаканом воды с небольшим количеством виски и рома; так время пройдет до чая, который займет еще полчаса вместе с болтовнёю; после этого – опять за чтение и письмо в моей комнате до десяти часов; наконец, кусок хлеба, стакан портера – и в постель. Таким образом проходит моя жизнь, и она была бы приятна, если бы не опасения за леди Скотт и бедного Джонни. Я думаю, что леди Скотт поправится, но за Джонни боюсь – боюсь...

8 апреля. Мы ожидаем сегодня утром вторжения целой кучи гостей, которых до нашего несчастья должны бы были пригласить к обеду. Материальные невзгоды сберегают время, вино и деньги – в этом отношении они удобны. Кроме того, в них есть известная приятность, когда они являются не в злейшей форме, а наподобие легкого приступа подагры, дающего вам право на диету, покой, халат и бархатные туфли: когда подагра

обуславливает у вас известковые отложения, а материальные невзгоды доводят вас до тюрьмы, то это уж черт знает что... Ожидаемые у нас гости мешают мне ехать на похороны, и я рад этому. Я ненавижу похороны и всегда их ненавидел: в них встречаешь неприятную смесь притворства с настоящей печалью; у главного осиротевшего человека, быть может, разбито сердце, а все остальные напускают на себя торжественную грусть и перешептываются о погоде и новостях дня, а там и сям еще какой-нибудь обжора наслаждается похоронною закускою... Я издали смотрел на похороны бедного ребенка...

6 мая. Та же сцена безнадежной и бесполезной тревоги. Она (леди Скотт) всегда встречает меня улыбкою и уверяет, что ей лучше. Боюсь, что болезнь слишком глубоко укоренилась. Я порядочный стоик, но напрасно говорю себе: „Если эти вещи необходимы, то встретим их как неизбежное“.

11 мая. Шарлотта не могла проститься со мною, так как спала после плохо проведенной ночи. Может быть, так и лучше. Волнение могло ей повредить; а я ничего не мог бы сказать ей, что бы стоило такого риска. Я предвидел в продолжение двух лет приближение этого рокового события. В течение последних двух месяцев стало ясно, что выздоровление невозможно. Но расстаться с подругой (с которой прожил двадцать девять лет) в то время, когда она так больна – этого я не предвидел, не мог предвидеть. Сердце мое разрывается при мысли, что мне, может быть, никогда уже не придется искать утешения и совета у моего верного и преданного друга».

Племянница В. Скотта, Анна, дочь его брата Томаса, приехала в Абботсфорд как раз перед тем, когда романисту пришлось переехать по делам в Эдинбург.

«Эдинбург, 15 мая. Получил горестное известие, что все кончено в Абботсфорде.

Абботсфорд, 16 мая. Она умерла в девять часов утра, после тяжелых двухдневных страданий – теперь ей легко. Я приехал сюда вчера поздно вечером. Анна измучена, и у нее были истерические припадки, которые повторились после моего приезда. Я едва могу отдать себе отчет в том, что чувствую. Временами я тверд как скала, временами слаб как вода, омывающая ее подножие. Когда я сравниваю то, что теперь вокруг меня, с тем, что было еще так недавно, мне кажется, что сердце мое разрывается. Я теперь одинокий, постаревший, лишенный семьи, обедневший, запутавшийся в долгах человек, разлученный навеки с другом, с которым делился мыслями и советами которого пользовался, с другом, который всегда умел своими речами успокоить во мне злые предчувствия,

надрывающие душу того, кто переживает их одиноко. Даже ее слабости были мне на пользу, заставляя думать о другом и отвлекая от томительных размышлений о самом себе.

Я видел ее. Но это не моя Шарлотта – не подруга, прожившая со мною тридцать лет. Та же самая симметрия форм, хотя оцепенели члены, когда-то столь грациозно-эластичные. Эта желтая, сморщенная маска, которая как будто издевается над жизнью, а не подражает ей, разве может быть ее лицом, когда-то столь живым и выразительным? Я не хочу больше смотреть на нее. Анна думает, что она мало изменилась, потому что в последнее время видела ее сильно страдающею – мои же воспоминания относятся к периоду, когда ей было сравнительно легко. Но если я долго буду писать так, то допишусь до совершенной потери твердости, а мне необходимо, напротив, поддерживать свое мужество. Я не знаю, что станет с тою частью моих мыслей и чувств, которые в такой значительной мере принадлежали ей в продолжение тридцати лет. Думаю, что они будут принадлежать ей по-старому, во всяком случае еще надолго...

18 мая. Настал другой день, прекрасный для внешнего мира; воздух мягок, цветы улыбаются, листья ярко зеленеют. Она не может наслаждаться этим, а для нее теплые дни были таким наслаждением. Ее уже теснят свинец и дерево гроба и скоро покроет холодная земля. Но не мою Шарлотту, не невесту моей юности, не мать моих детей положат среди развалин Драйбурга, которые мы так часто и весело посещали для препровождения времени. Нет! Нет! Она чувствует и сознает мою печаль где-нибудь и каким-нибудь образом. Где? – мы сказать не можем. Как? – мы сказать не можем. И в то же время я ни за какие земные блага не отказался бы от таинственной, но верной надежды увидеться с нею в лучшем мире!!..»

Смерть жены тяжело подействовала на В. Скотта. Сыновья его, Чарлз и Вальтер, оба приехали на похороны, и в дневнике упоминается, что их общество было для огорченного отца наилучшею поддержкою и утешением. Работа также требовала у него много времени, и ему в полном смысле слова было некогда горевать.

В течение следующих двух лет В. Скотт написал «Наполеона Бонапарта» в девяти томах, две серии «Канонгэтских хроник», множество журнальных статей, «Рассказы деда о шотландской истории» и своими примечаниями много помог успеху появившегося в то время полного собрания своих сочинений. Такая неутомимая энергия не осталась без награды: на собрании его кредиторов в 1828 году ему была объявлена

публичная благодарность за то, что он уже уплатил 10 000 фунтов стерлингов в счет своего долга. Все это время он жил очень уединенно с дочерью Анной и только ненадолго ездил в Лондон и Париж, чтобы собрать материалы для истории Наполеона. У него был также небольшой кружок друзей, с которым он встречался по-старому. За это время В. Скотт жил то в Эдинбурге, то в Абботсфорде, оставшемся в его владении с очень небольшим количеством земли. Понятно, что при изменившихся материальных средствах образ жизни семьи был очень экономный. Интересно, как отнеслась прислуга к известию, что хозяин их обеднел. Старик дворецкий, которому сказали, что теперь нельзя будет держать его, расплакался и предложил служить без всякого жалованья. Он действительно остался и, вместо того чтобы быть начальником целого полка расторопных слуг, стал справлять собственноручно чуть не всю работу в доме за половинное жалованье. Старый Питер, любимец всей семьи, служивший двадцать пять лет в доме как выездной кучер, превратился в обыкновенного пахаря – тоже по собственной воле, чтобы не покидать любимого хозяина. Все это сильно трогало В. Скотта, который, по словам Логкарта, с необыкновенною чуткостью относился к окружающим его людям и высоко ценил их расположение и преданность. Тем печальнее была для него в 1829 году смерть Пурди, до конца остававшегося его верным слугою и преданным другом.

Глава V. 1830-1832

Болезнь Вальтера Скотта. – Поездка на континент. – Возвращение в Абботсфорд. – Последние дни и кончина Вальтера Скотта.

Тяжелые заботы В. Скотта и усиленный умственный труд не могли не сказаться на его здоровье. Еще в 1827 году в его дневнике отмечено, что однажды, после усидчивой и продолжительной работы, ему вдруг стало казаться, что он уже когда-то слышал все происходящие вокруг него разговоры. В следующем году случилось нечто еще более странное, именно: на одном вечере ему очень понравился романс, пропетый дочерью хозяина. «Прекрасные слова, чьи они? – спросил он Логкарта. – Вероятно, Байрона, но я их не помню». Оказалось, что это его собственная песня из романа «Пират». Сначала В. Скотт рассмеялся, но потом это внушило ему опасения совсем потерять память. Он, однако, успокоился после того, как в течение многих месяцев ничего подобного не повторялось, причем снова предан работе и чуть не в одно время писал роман «Анна Гейерштейн», вторую серию «Рассказов деда» и критические статьи для «Четвертного обозрения».

Наконец, 15 февраля 1830 года с ним случился первый апоплексический удар. Он, по обыкновению, вернувшись из суда, сел за работу. В гостиной сидела его дочь Анна и сестра Логкарта, когда В. Скотт вдруг показался на пороге. У него было такое страшное выражение лица, что Анна не могла подумать ни о чем другом, как о семейном несчастье, и воскликнула:

– О папа! Джонни умер?

В. Скотт ничего не отвечал и бессознательно смотрел на нее.

– Что же, папа, сама София? Он продолжал стоять молча.

– Я знаю, это Вальтер, сам Вальтер! – произнесла Анна с отчаянием.

В эту минуту В. Скотт грохнулся на пол. Послали за врачом и тотчас пустили больному кровь. Когда он пришел в себя, то первыми его словами было: «Как это странно, как это странно!» Поправившись, он рассказал, что его вдруг охватило непонятное чувство: ему казалось, что все у него, начиная с языка, сковано; он подумал, что от движения это пройдет, и пошел в гостиную, где при виде отчаяния дочери упал без чувств.

Он старательно скрыл этот приступ от друзей и снова принялся писать, но в его последующих трудах уже сильно сказывался упадок таланта и

умственных сил. Он написал после своей болезни «Историю Шотландии», третью серию «Рассказов деда», «Письма о демонологии» и некоторые другие сочинения.

В 1830 году было уменьшено число секретарей в Эдинбургском суде. В. Скотт остался за штатом и тотчас переехал в Абботсфорд. Здоровье его становилось все хуже и хуже. Он начал страдать ревматизмом до такой степени, что сам не мог уже водить пером и диктовал своему другу Лэдлау. Его уговаривали перестать изнурять себя непосильным трудом, однако он не хотел никого слушать. Но, как ни боролся В. Скотт с обстоятельствами и с собственной болезнью, упадок сил настолько сказывался на его произведениях, что издатели начали писать ему об этом; он тогда работал над «Графом Робертом Парижским». Тяжело было маститому долголетнему любимцу публики получать подобные письма. Неоднократно упоминает он об этом в своем дневнике и в переписке с друзьями. Так, издателю своему Каделю он среди прочего пишет: «Ясно, что я потерял способность нравиться английской публике и должен бы был, по справедливости, оставить литературу, пока еще стою чего-нибудь как писатель. Это важный шаг, но я не задумаюсь сделать его, если это окажется необходимым... Откровенно говоря, я не могу, однако, бросить в сторону полузаконченную книгу, как бутылку выдохшегося вина...»

В другом письме к Каделю от 12 декабря 1830 года он говорит: «Есть много обстоятельств, которых ни Балантайн, ни Вы не могли знать и которые, если бы Вы их знали, повлияли бы на Ваше мнение, имеющее такое серьезное значение для меня. Как отец мой, так и мать умерли от апоплексии... Отец на два года пережил удар – печальная и вовсе не желательная отсрочка. Меня расстроил поутру визит мисс Йонг, после чего, как Вы знаете, я лишился языка. Врачи сказали, что виноват желудок; может быть, оно и верно, но что же мудреного, что все это внушает мне опасения...»

В своем дневнике он пишет:

«Лондон, 2 октября, 1831. Я был очень болен и если не вполне потерял способность писать, то, во всяком случае, был не в состоянии делать это собственноручно... Я, тем не менее, работал над двумя вещами, но плохо. Полное отсутствие физических сил – вот мое главное страдание. Я не могу пройти полмили. Существует помимо этого известная доля умственного ослабления, о которой, быть может, самому нельзя судить. Может быть, я – на закате. Я сам склонен это думать и сравниваю себя с ясным днем, свет которого угасает среди туманов и гроз. Приближение смерти не пугает и не печалит меня. Телесное страдание предпочтительнее

этого невыносимо унылого настроения духа... Я, конечно, желал бы умереть, если Господу будет угодно, так же спокойно, как доктор Блэк и Том Пурди; но мы должны принимать то, что посылает судьба. У меня не осталось никакой надежды сделаться опять самим собою...»

В это тяжелое время верные друзья В. Скотта не покидали его, и это доставляло облегчение его страданиям, утешением служило ему также быстрое уменьшение его долга. В 1831 году кредиторам оставалось получить всего только 54 тысячи фунтов стерлингов, и они постановили единогласно: «Просить сэра Вальтера Скотта принять от нас его библиотеку, картины, серебро, мебель, белье и прочие домашние вещи как доказательство нашей благодарности за его в высшей степени благородное поведение и неслыханные труды на нашу пользу».



Сэр Вальтер Скотт.

К заботам и болезни бедного романиста прибавились и другие разные неприятности. Так, на выборах в Селькирке, где он был обязан присутствовать в качестве шерифа, народ устроил ему враждебную демонстрацию за его консерватизм. То же самое происходило в Жедберге, где он произносил речь.

Наконец, ближайшие родственники В. Скотта уговорили его созвать врачей, которые единогласно потребовали, чтобы больной отдохнул от умственного труда. Решено было, что он с дочерью Анною совершит путешествие по Европе. В. Скотт поехал, но работать не перестал. Так, на Мальте он почти написал роман из истории мальтийских рыцарей, а в Италии – повесть «Бизарра». Во время этого путешествия его вовсе почти не занимали новые места и лица. Он тосковал о потере своих умственных сил и однажды выразился так: «Да, лучше умереть, чем пережить их, лучше умереть, чем жить с вечным опасением их потерять; но всего хуже лишиться части умственных способностей и сознавать это». Говоря о своей жизни и деятельности, он высказал однажды мистеру Ченей, сопровождавшему его в его прогулках по Риму: «Я быстро приближаюсь к концу своей карьеры и вскоре сойду со сцены; я, быть может, самый плодовитый автор своего времени, но меня утешает мысль, что я не старался пошатнуть веры ни в одном человеке, не распространял никаких безнравственных принципов и не написал ни одной строчки, которую на смертном одре пожелал бы вычеркнуть». Своим путешествием В. Скотт очень тяготился, его тянуло на родину в любимый Абботсфорд. На обратном пути с ним опять случился удар, после которого он только временами приходил в себя. Все дальнейшее путешествие по Англии и Шотландии было до крайней степени печально и затруднительно, так как больной был очень слаб. Когда, однако, стали приближаться к Абботсфорду, родные звуки точно пробудили В. Скотта к жизни, и он стал произносить имена окрестных селений; а когда представился его глазам вид башен Абботсфорда, он громко вскрикнул от восторга и его едва могли удержать в карете. На пороге замка его встретил Лэдлау и помог Логкарту и дочерям больного провести его в столовую, где для него была приготовлена постель. Он растерянно смотрел вокруг; когда взгляд его упал на Лэдлау, он произнес: «А! Вилли Лэдлау! Друг, как часто я думал о вас!» Собаки его окружили кресло, на котором он сидел, – они лизали ему руки, а он плакал и смеялся, лаская их, пока не задремал. На следующее утро, несмотря на зловещие предсказания врачей, домашним больного показалось, что блеснул луч надежды. В. Скотт проснулся в полном сознании и выразил настойчивое желание, чтобы его снесли в сад. Следующие дни ему было, по-видимому, еще лучше. Его возили в кресле по дому и саду. «Я видел многое, – говорил он, – но не знаю ничего лучше моего собственного дома». По его просьбе ему читали вслух, но случалось, что, кроме Библии, он принимал все за новое, даже такие вещи, которые знал чуть не наизусть. Относительно своего материального положения он совсем не беспокоился,

так как ему представлялось, что оно совершенно поправилось и что все долги уплачены. Его не разуверяли. 16 июля он был очень слаб и пробыл в постели, но 17-го после завтрака попросил, чтобы его свезли в сад. Продремав там в кресле с полчаса, он вдруг проснулся, сбросил прикрывавшие его пледы и сказал: «Что за печальная лень! Я забуду все, о чем думал, если не запишу тотчас же. Свезите меня в мою комнату и принесите ключи от конторки». Он так серьезно и настойчиво требовал этого, что ему не решились противоречить. Когда кресло придвинули к конторке и он очутился в привычном положении, то улыбнулся, поблагодарил окружающих и сказал: «Теперь дайте мне перо и оставьте меня одного».

София вложила ему перо в руки, и он хотел сомкнуть пальцы, но они не повиновались его воле, и перо упало на бумагу. Больной опустил на подушки кресла, не сказав ни слова, и слезы потекли по его щекам; потом, успокоившись, он знаком попросил Логкарта увезти его снова в сад, где вскоре задремал. Когда он проснулся, Лэддау сказал Логкарту: «Сэр Вальтер немного отдохнул». «Нет, Вилли, – отвечал больной. – Для сэра Вальтера нет отдыха иначе как в могиле». Слезы опять потекли у него из глаз. «Друзья, – сказал он, – не давайте меня на посмеяние, а положите в постель – там мое место». После этой сцены никто уже не обманывал себя несбыточными надеждами. С этого дня и до самой смерти В. Скотт был почти все время в бессознательном состоянии. Семнадцатого сентября больной ненадолго пришел в себя и тотчас послал за Логкартом. Он был очень слаб, но спокоен и в полном сознании. «Логкарт, – обратился он к зятю, – мне осталась, может быть, только одна минута, чтобы поговорить с тобою. Друг мой, будь добрым человеком, будь добродетельным, будь хорошим человеком. Ничто другое не утешит тебя, когда придет твоя очередь умирать». Он замолчал, и Логкарт спросил его: «Не послать ли за Софией и Анной?» «Нет, – отвечал он, – не беспокойте их. Бедняжки! Я знаю, что они не спали всю ночь. Господь да благословит вас всех». После этого он спокойно заснул и только один раз пришел в сознание, когда приехали его сыновья.

21 сентября 1832 года сэр Вальтер Скотт скончался; все близкие окружали его. Был чудный солнечный день, такой теплый, что открыли все окна; было так тихо, что в комнату ясно доносилось журчание Твида, который он так любил при жизни. Дети умирающего стояли на коленях вокруг его постели, и старший сын закрыл ему глаза. 26 сентября бранные останки знаменитого писателя при большом стечении народа были преданы земле в Дрейбургской обители. Его похоронили рядом с женою.

На могиле положили четырехугольную гранитную плиту с надписью: «Сэр Вальтер Скотт, баронет; умер 21 сентября 1832 года».

Мечта В. Скотта – основать род Скоттов из Абботсфорда – не осуществилась. Сыновья его умерли бездетными. Правнучка его Мария, дочь Шарлотты Логкарт, вышла замуж за Джеймса Гоппа, который после смерти последних Скоттов взял их имя. Семейство Гопп-Скоттов владеет ныне Абботсфордом и поддерживает его в прежнем, неизменном виде. Другая цель В. Скотта, которой он так благородно и мужественно пожертвовал всем, и талантом и жизнью, – уплата долгов, – была вполне достигнута после его смерти. Весь долг, за вычетом суммы, на которую романист застраховал свою жизнь, достигал в 1832 году тридцати тысяч фунтов стерлингов. Кадель, издатель полного собрания сочинений Вальтера Скотта, принял этот долг на себя взамен уступленного ему права собственности на все произведения покойного автора. И кредиторы получили сполна все, что им следовало, с процентами до последнего пенни.